

Вардгес Петросян

Прожитые и непрожитые годы

1

Это не дождь.

Это стучит пишущая машинка, за ней сидит и печатает человек лет тридцати двух. Комната небольшая, поэтому стрекот машинки кажется громче обычного. Мужчина курит, окно закрыто: на дворе прохладно, хотя сейчас май, сияет солнце и деревья облепила зеленая пыльца.

Уже час он печатает на одинаковых листках одно и то же. Он по рассеянности то и дело ошибается и, разорвав написанное, начинает снова. Снаружи темнеет, в комнату, выходящую окнами во двор, не долетает уличный шум. Вот и последний лист. Он перечитывает текст: «Привет, старик! Если ты еще помнишь, что пятнадцать лет назад мы вместе кончали школу, явись туда в следующее воскресенье. Не забудь положить в карман двадцать рублей». Левон сосчитал листки и усмехнулся: семнадцать, – значит, он не обошел приглашением и самого себя. Пускай, давно он не получал писем. Адреса он проверял по записной книжке. С полгода будет, как Левон никого не встречал, – может, адреса изменились? Неизменный адрес у Акопа: «Ереван, центральное кладбище». Правда, туда уже не дойдет ни одного письма... На столе разложены пожелтевшие фотографии одноклассников, но, даже не глядя на них, он представил себе лицо Акопа и отложил в сторону листочек: сам отнесет письмо на могилу. Прочие конверты надписал равнодушно, не особенно стараясь вспомнить лица адресатов. Зачем вообще нужно копаться в ульях прошлого, неужели в надежде, что оттуда с жужжаньем вылетят пчелы воспоминаний? Вряд ли. Все почти позабыто, пчелы желтым слоем пыли лежат на дне ульев, пусть там и остаются.

Да, это было пять лет назад, они собрались на десятилетие окончания школы и договорились встретиться еще через пять лет. Напомнить о дне встречи должен

был он. Но едва, ли явится больше семи человек., Надписав последний, собственный адрес, ухмыльнулся: если не пойдет, скажет – не получил приглашения. И он вслух рассмеялся. Всё, теперь закрыть машинку и завалиться на диван. Вот вспомнил детство, значит, начал стареть «До чего гениальная мысль», – насмешливо сказал себе и решил ни о чем не думать. Хоть часок поспать перед уходом в типографию. Печатается его очерк, надо бы в последний раз просмотреть. Левон закрыл глаза. Но разве спят глазами? Хоть зашей веки, если голова бодрствует, пиши пропало. Вот еще одна гениальная мысль. Музыка, что ли, послушать? Магнитофон немо стоял на столе, совсем как сплетница: нажмет кнопку – и спасения нет. А не лучше ли прибрать комнату? Превосходное занятие в таком неопределенном состоянии духа. Впрочем, незачем: нельзя сказать, чтобы было грязно. Плохо, что выпить нечего. Может, позвонить? Длинный шнур позволял тащить телефон за собой.

– Ашот?

– Слушаю, Левон.

– Что делаешь?

– Кино смотрю по телевизору, то есть «ерустацуйцу». И длинное же слово!

– Зато армянское. А «бордюр», к примеру, звучит красиво, да не по-нашему.

Значит, у тебя есть занятие...

– Занятия нет, есть телевизор и жена, которая собирается стать ученым.

– Алина?!

– Кто же еще? Ушла на лекцию по философии. Там таких, как она, человек двести или триста. И все будут учеными. А я нянчу детей, пока мама-философ вернется домой.

– А обед сварил?

– Подгорел он у меня.

– Превосходно. Послушай, а не может ли Алина познакомить меня с кем-нибудь из этих трехсот? Мне тоже охота готовить обеды.

– Совсем спятил, – заметил Ашот.

Должно быть, все же уснул и вскочил от телефонного звонка. Вскочил и

никак не мог понять, откуда звук, ведь аппарат накрыт подушкой. Звонил дежурный из типографии.

– Вас срочно вызывает редактор, сердится... Что?

– Сейчас еду.

Статья, видно, пришлась редактору не по вкусу. Но шуметь из-за этого он бы не стал. А может, с женой поругался или от начальства попало? Он вдруг почему-то представил Алину, жену Ашота, под руку с Гегелем в центральном универмаге Еревана. «Есть у вас идея пальто? Нет? А абсолютная идея шляпы?» А Алина дает пояснения: «Профессору нужны пальто и шляпа». – «Пальто и шляпа имеются, – отвечает продавщица, – а вот идеи...» – «Ему и самому они приелись, – возразит Алина. – Покажите, пожалуйста, вон то». Левон показал себе в зеркале язык, легко и беззаботно рассмеялся: оказывается, Гегель с Алиной довольно веселые люди...

Он рассовал конверты по карманам, чтобы по дороге бросить в почтовый ящик. Все-таки почему его вызывает редактор? В статье он пишет о молодом враче, совершающем, по слухам, чудеса (если только они еще возможны на нашей старушке Земле). Он видел врача вовремя операции, говорил с ним, читал письма от выздоровевших больных. Кажется, этого вполне достаточно. Было время, когда он счел бы, что этого мало. Зашел бы к врачу домой, выпил с ним, поспорил, поругался, разыскал бы его близких, любимую девушку. И только после этого стал бы писать (а может, и не написал) свою статью. К чему было все это?...

Кое-как затянул галстук, – зачем его придумали, будто мало других способов держать человека в узде. Надел пиджак. Ну вот, теперь можно идти. Он погасил свет.

На дворе в разгаре май. Это заметно не столько по деревьям, сколько по людям. Он улыбнулся молоденькой девушке, в ответ та тоже улыбнулась, они разошлись в разные стороны. Он оглянулся, она тоже. Ого!.. Но... он продолжал свой путь. Ясное дело, стареет, вот еще одно доказательство. Кто-то сунулся к нему с розами.

– Настоящие?

– Канакерские.

– Ну, ежели канакерские, – равнодушно проговорил он, – дай эдак грамм двести...

И только тут он взглянул в лицо продавца, оно было краснее самих роз, – под хмельком, видать, счастливчик! Левон сунул руку в карман за деньгами.

Он шел теперь с розами, будто направлялся на свидание. Но ведь предстоит разговор с редактором, который даже розы может посчитать пережитком. Выпить, что ли? Он заглянул в кафе и проглотил стаканчик золотистой жидкости. «Золотистой», – с отвращением повторил он это слово. Ко всему есть бесплатное приложение, отдельно взятые слова утеряли свой смысл. Обычно говорят: «хороший человек», как будто мало сказать «человек». Фу ты, черт, опять он, кажется, расфилософствовался. А редактор небось рвет и мечет. Он ускорил шаги. Ах, розы-то позабыл в кафе, да ничего, им хозяин найдется.

На стенах типографии синими и красными буквами написаны лозунги, призывы. Их писали в двадцатые, тридцатые годы по-армянски, по-русски, по-азербайджански. А по-курдски ничего нет. Ну да, конечно, ведь курдскую газету совсем недавно стали издавать. Справа и слева от него проходили усталые люди, которых он знает вот. уже восемь лет.

– Привет, дядя Самсон...

У Самсона семеро детей, вот ему и приходится вкалывать по четырнадцать часов в сутки. Иногда засыпает на работе. Левон ощупал свой карман, – кажется, одна из роз сохранилась. Подарит ее корректорше, она девушка некрасивая, кто станет подносить ей цветы?

– Где же ты был, милый мой?

– Дома.

– И что ты там делал?

– Лежал и думал.

– А дальше?

– Дальше мне позвонили из типографии. Я оделся, по дороге улыбнулся

одной девушке, купил розы для Сусан...

– Спасибо, – ответила Сусан.

– Ты что, смеешься? – спросил редактор.

– Над кем?

Редактор ни за что на свете не сказал бы «надо мной», поэтому пришлось смолчать. В руках он держал толстый красный карандаш, и веки его были воспалены, словно он обвел их красным карандашом.

– Материальчик-то твой я снял.

– За этим только и вызывали? А почему, можно узнать?

– Потому, что ты сам не знаешь, о чем пишешь.

– Лучше всего получается тогда, когда не знаешь, о чем.

У редактора был очень усталый вид, а ему еще предстояло достать в магазине мацун.

– Итак, хочешь знать почему?

– Редакторов не спрашивают почему, особенно ночью, в типографии...

– Не к месту остришь, голубчик. Этот твой чудо-врач спит с медсестрой. В горком поступил сигнал. А еще двоих детей имеет...

– Кто, медсестра?

– Нет, герой твоего рассказа.

– И из-за этого вы сняли материал?

– А тебе мало? – Редактор подумал, что так поздно нигде не найдет мацуна и Арма опять станет пилить его и сетовать, какая она несчастная.

– Ну, так я пошел.

– погоди, я с тобой.

Во дворе редакции стояло несколько автомашин.

– Привет, Кероб, – сказал Левон.

Кероб, как всегда небритый, сидел у руля, сжимая в пожелтевших зубах черный мундштук. Дверца машины была открыта.

Удлиненный его профиль казался обломком скульптуры египетского фараона. Впечатлению мешали только глаза, живые, с болезненным,

лихорадочным блеском. Кероб работал по ночам, днем он трудился еще где-то. Его трубка искрилась огоньком в зубах, а глаза горели между бровями и скулами. Трубка скоро погаснет, но это ничего, можно запалить другую или одолжить папиросу. А если погаснут глаза?... Вот и опять я ударился в философию, подумал Левон... Но о Керобе он думал часто. Интересно, когда этот человек спит? По воскресеньям?... Такие люди рано умирают, как будто для того, чтобы восполнить недостаток в сне. Левона всегда тянуло поговорить с Керобом, но тот уклонялся от бесед. Уж лучше поспать, если выдался часок-другой, чем языком чесать.

– Кероб!

– Ага...

– Как учатся дети?

– У-учатся...

– Как, я спрашиваю?

– Чего там, учатся. Посплю малость, а то он сейчас придег.

Кероб закрыл глаза, сделавшись еще более похожим на египетского фараона.

– Кероб, слышишь?

– Ну, чего тебе? Не мешай, он сейчас придет.

– Сердитый он очень.

– Мне-то что.

«Этот Левон неплохой парень, – думал Кероб. – Всегда за руку здороваётся и не интересуется, на что я содержу детей. Кому какое дело, все равно никто ничем не поможет». Сквозь сон он вдруг подумал о том, что в машине масла осталось всего ничего, а им еще по всему городу гонять в поисках мацуна.

Любопытно, – вчера, выкроив время, немного вздремнул, но вдруг как вскочит: внук Араик, сын старшей дочери, ухватил его за нос и пытался влить в рот воды. «Ты что, Араик, сдурел?» – «А дедушке надо лекарство пить». Как-то малец заприметил, как пьет дед лекарство, и вот... Все очень смеялись, а внук удивленно тарасил глазёнки: разве он что-то сделал не так?

– Левон?

– А?

– Чего не женишься?

– Кому это нужно?

– Внуки у тебя будут.

– Внуки? – Левон оживился. – Так сразу и внуки?

– Почему сразу? – спокойно заметил Кероб. – Сначала пойдут дети, потом внуки.

Темнота сгущалась, окна типографии светились ярче, словно глаза-больного' с высокой температурой. На стеклах все еще виднелись следы от марли, которой накрест заклеивали окна в войну. Хороший был клей, думал Левон, не отмылся до сих пор: хотя неизвестно, хороший или нет, ведь Ереван-то не бомбили. Кероб уже спал сидя, уронив руку на руль.

– Молодец, что подождал, – сказал редактор, открывая дверцу и садясь в машину. – Поехали.

Кероб даже не открыл глаз. У него лишь дрогнула правая нога, пальцы царапнули руль. Дорогу он знал наизусть, казалось, мозг и зрение участия в движении не принимали. И было неясно, кто больше машина, он или автомобиль. Левон взглянул на часы – ровно одиннадцать.

– О мацуне забудь думать. – В неслужебное время Левон говорил редактору «ты».

– Тот магазин, что рядом с оперой, закрывается в одиннадцать. Устал я. И виноват в этом не кто иной, как ты.

– Я?

– Если бы не ты со своим врачом, давно бы я достал мацун.

Левон глядел на усталый профиль редактора и видел в темноте один его глаз. Красная линия под глазом казалась сейчас черной, словно карандашом проведенной. Профиль, как карандашный набросок, нетрудно стереть резинкой, а потом внести поправки и дополнения. Но Левон отогнал этот образ, ему больше нравился тот, недавний редактор с красным карандашом в руках и блеском

мысли в глазах. Теперь же он был как немолодая дама, снявшая корсет, отчего формы ее расплылись. Слабые мужчины, как и сильные женщины, ему не нравились.

– Мой врач человек порядочный, – сухо произнес Левон. Ему хотелось растормошить редактора, вывести из сонного оцепенения, пусть бы снова заорал, расшумелся.

– Не спорю, – проговорил редактор, – не спорю.

– Тогда зачем же ты зарезал мою статью, а?

– Э! – Редактор махнул рукой.

В машине, на улице, в мире не было темно. Темноты не бывает. Ее выдумали люди, чтобы скрывать свои слабости, вину, выражение глаз и еще тысячи разных вещей. Левон вдруг сбросил усталость, владевшую им целый день, его обуял дух борьбы. Но подле него сидел слабый человек. Ему стало скучно, он зевнул.

– Хороша ночка, а?

– Не обижайся, – сказал редактор, – ты же знаешь, как я тебя люблю.

– Куда приятнее было бы услышать эти слова, скажем, от Сусан.

– А статья у тебя была неплохая, – продолжал редактор, – особенно конец.

– Так, труха одна, – сказал Левон, – и начало, и конец, обыкновенная шелуха. А ты-то думал, мне написанного жалко?

В магазине мацуна не оказалось. Редактор окончательно превратился в карандашный силуэт. Он уснул в углу машины. В карман его плаща был засунут завтрашний номер газеты...

2

Машина остановилась у подъезда.

– Пошли, – предложил Левон, – посидим.

– Нет, не могу.

– Всего полчаса. Коньяк есть, французский.

– Какой, говоришь?

– Французский. С Наполеоном на этикетке.

– При чем тут Наполеон? А правда, пойти, что ли?...

– Можешь позвонить и сказать, что газета задерживается и мы ждем нового материала.

Редактор одной ногой уже ступил на тротуар.

– Разве что на полчаса...

– У меня всего одна бутылка, и закусить нечем. Минуточку...

Подойдя к прибитому на стене почтовому ящику, он опустил в щель конверты.

– Пошли.

Первую рюмку опрокинули молча.

– Хороший коньяк, – сказал редактор. – Что это были за письма?

– Наш класс собирается. Через неделю.

– Милое дело.

– Что, коньяк?

– Нет, то, что хотите собратъся. Из нашего класса в живых осталось четверо.

В сорок первом подвели итог. – Не глядя на Левона, он выпил еще стопку. – А девчонки теперь стали бабушками, с кем тут будешь собираться?

Левон ощутил грусть собеседника. Человек редко ощущает грусть другого. Но теперь он ее разглядел. Этому человеку ведь тоже когда-то было шестнадцать. И ему было. Сейчас ему самому тридцать три. Редактору тоже было в свое время тридцать три. А теперь ему сорок два. Левону еще никогда не было сорок два. И кто знает, будет ли?

– ...Ты так и не позвонил Арме.

– Ничего, – редактор махнул рукой, – сойдет.

– И мацун не купил.

– Ладно, – на этот раз в его голосе слышалось недовольство, – пустяки.

Выпили еще по одной, редактор – залпом, а Левон – глотками.

– Очень уж маленькая у тебя комната.

– Возможно, – сказал Левон. – Хочешь, девушек позову? Выпьем,

поболтаем, а?

Лицо редактора выразило удивление.

«Девушки? – подумал редактор. – Наверное, молодые, красивые. Ох, хорошо! Придут, заполнят комнату своими глазами и смехом, забудешь и типографию, и жену, и мацун, который не удалось достать».

– Ты что, рехнулся? – сказал он вслух. – За кого меня принимаешь?

– Не настаиваю, – возразил Левон. – А с девушками можно и беседовать или, скажем, звезды считать. Не обязательно то, что ты подумал.

– А что я подумал?

– Не знаю. Я не Вольф Мессинг, мыслей не разгадываю. Налить тебе еще?

Редактор опять одним духом опорожнил рюмку. Левон посмотрел на этикетку, где был нарисован Наполеон. Вот уж не пришло бы императору в голову, что он окажется на этикетке от коньяка.

Несколько дней назад Левон ездил в деревню, он увидел, что старое кладбище было перепахано. Осталось всего несколько могильных плит, отдельные островки. В детстве они играли здесь в прятки, было много плит, и простых, и роскошных, со стершимися буквами. А теперь кладбище перепахали, посадят, должно быть, фасоль и капусту. А может, картошку? Тогда ему было тоскливо и грустно смотреть на эти камни, но теперь он понял, что невеселые эти мысли относились не к перерытому кладбищу, а к детству. Значит, много с тех пор воды утекло, раз и кладбище перепахали... А Наполеон-то Бонапарт улыбается с наклейки.

– Ты не обиделся? – спросил редактор. – Где достал коньяк? Мировой!

– Приятель прислал из Парижа, – сказал Левон. В Париже у него и в самом деле был друг, который когда-то прислал коньяк. Только тот коньяк давным-давно выпит, а в бутылку он налил армянский, «три звездочки». Лево́й с нескрываемой тоской посмотрел на его пустую рюмку. – Так ничего, говоришь?

– Да, отличный. А все же ты обиделся.

– Нет, что ты, просто вспомнил кое-что. Понимаешь, в нашей деревне старое кладбище перепахали.

– Перепахали?

– Угу... Земля там хорошая, а потом ведь кладбище заброшенное. Кто помнил его, давно перемерли.

– Грустные вещи говоришь. – Редактор глубже ушел в кресло, втянул в себя папиросный дым и надолго замолчал.

Левой кинул взгляд на часы, включил приемник.

– Послушаем, как наши сыграли в Киеве.

Радио сообщило, что на севере страны дуют ветры – от слабого до умеренного.

– Эх, пропустили передачу!

Редактор все еще размышлял о кладбище, которое перепахали. Когда-нибудь вскопают и его могилу, почему знать? Он одну за другой осушил две рюмки, приятно захмелел, все вопросы отошли в сторону.

– Ты меня не понимаешь, – обратился он к Левону, – называешься писателем, а не чувствуешь, – он был почти пьян, – по-твоему, я... Не понимаешь, что я войну прошел, многое перевидал, многое...

Назревало самое нежелательное. Теперь надо ждать, что он начнет по пуговке расстегиваться, распахнет свою душу. Поэтому Левон поспешно сказал:

– Еще по рюмочке? Коньяк-то есть?

– Не знаю... Тут на доньшке что-то осталось... А людей надо изучать вон как, со всех сторон. – Одну пуговицу он уже расстегнул. – Ты думаешь, я сухарь, ничем меня не проймешь? Считаешь, что я добро от зла не отличаю, трус, да?... А ну, поставь себя на мое место... Что скажешь, а?

Левон ничего не сказал.

– Ты не обижайся, – попросил редактор.

Левон заявил, что не обижается.

– Я пойду, – сказал редактор, – поздно уже. Ты за мной не ходи, я не пьян.

Приемник объявил, что сейчас передадут легкую инструментальную музыку (музыку тоже взвешивают, словно это сыр или гвозди; думают, люди сами не различат, легкая она или тяжелая).

– Всего хорошего, – сказал редактор. – Знатный был коньяк.

Левон разделся, лег. Придвинув телефон, набрал номер. На том конце долго не брали трубку.

– Я слушаю. Кто это?

– Лилит? Добрый вечер...

– Ненормальный! – Женщина бросила трубку.

Он набрал номер Ашота, подошла Алина.

– Это Левон. Ну как, купили в универмаге пальто для Гегеля?

– Для кого?

– Для Гегеля.

– Ненормальный. Затем и позвонил?

– Да. Как там Араик?

Алина засмеялась.

– Занимается. Не мешай, у меня стирка. – И положила трубку.

«За пять минут два раза «ненормальный». Пожалуй, многовато», – подумал Левон и погасил свет.

* * *

– Поедешь на один день в район, – объявила секретарша. – Редактор говорил.

– В какой район? Она назвала.

Это хорошо, кстати, повидает Рубена, давно с ним не встречался. Во время войны Рубен как-то явился в школу с повязанным вокруг шеи шарфом. Это был самый обыкновенный шарф, его прислал дядя из Германии. Но в классе ни у кого не было шарфа. Как раз в тот день его выставили с урока за то, что он залил чернилами пальто Вагика. Директор тогда посмотрел на Рубена и сказал: «Тоже мне, человеком стал, шарфы носит». Сейчас Рубен первый секретарь райкома, а бывший их директор уже и не директор, преподает химию там же, в школе. Почему-то он вспомнил: «Человеком стал, шарфы носит».

Редактор говорил по телефону. Левон кивнул ему и сел. У редактора было сероватое лицо, – забыл, а может, не успел побриться... На столе лежали бумаги, письма, карандаши, под стеклом номера телефонов и фотографии – две смеющиеся девочки. Непонятно отчего, но каждый раз, входя в кабинет редактора, он смотрел на этот снимок и тоже улыбался.

Наконец редактор кончил говорить.

– Зачем я еду?

– Не помешало бы сначала поздороваться.

– Я же кивнул.

– Тебе кажется, что голова для того и существует?

– А для чего? Шляпы косить?

– Не остроумно.

– Зачем я еду?

Редактор набрал какой-то номер.

– Это я. Ну, как поступим?... Кого посылаю?... Левона. Он силен в таких делах... Ну, посмотрим. – Редактор положил трубку. – Старшеклассники, парень и девушка, покончили жизнь самоубийством...

– И что же?

– Поезжай, посмотри, что и как.

– Положим, поеду. А вообще, откуда вы взяли, что я силен в этих делах?

– С тобой невозможно говорить. – В голосе редактора пробивались сердитые нотки. – По-моему, это должно заинтересовать тебя. Кто твой любимый писатель? Ремарк, если не ошибаюсь?

Это ведь его герои любят кончать жизнь самоубийством? – Левон не поддавался, глядел безразлично. – Разве ты не любишь Ремарка?

– Я люблю секретаршу Седочку, а Ремарка читал десять лет назад.

Редактор ухмыльнулся.

– Ну ладно, хочешь – прямо сегодня и поезжай. Но только смотри, разберись там во всем как следует, сам Степанян интересуется, понял?

– Как это можно сделать за один день?

– Их похоронили три дня назад. С учителями поговори, с друзьями, с родителями. – И он вдруг перешел на другое: – Вчерашнего коньяку не осталось?

– Нет, – сказал Левон. – Я могу идти?

– Можете, – бросил редактор, переходя на «вы». – Отчет попрошу со всеми подробностями, надо представить докладную Степаняну.

– Докладных я не пишу.

– Знаю, знаю, ты у нас Ремарк, а писать все-таки придется.

Левон вышел. Самоубийство, коньяк. В одной и той же фразе. Разделенные только запятой. Как могут эти две мысли роиться в одной голове бок о бок? Но, немного подумав, решил, что просто зол на редактора. Он сам иной раз на кладбище вспоминал вдруг анекдот и чуть не прыскал. Если бы снять на киноленту мысли людей, любопытная получилась бы картина, друг за другом следовали бы совершенно разные мысли и соображения. На минуту он представил эту киноленту, снятую хотя бы за один день жизни – Люди в фильме получились бы поразительно похожими друг на друга, ведь лента отражала бы подлинные их мысли. Если бы можно было обнажить души, они оказались бы ужасно схожими, любят ведь все примерно одно и то же, жаждут одинаковых наслаждений. И только тщательно скрывают от других, притворяются, играют в дипломатию... Отсюда и различия между людьми, ха-ха-ха! Левону стало смешно. Он пускается в рассуждения только в дурном настроении.

– Как дела, Седа? – спросил он секретаршу. – А не пожениться ли нам с тобой?

Девушка смутилась;

– Вы все шутите.

– О любви молчат, вслух можно говорить только в шутку. Что ты делаешь вечером? Обиделась? Ну ладно...

Звонок из кабинета вызывал Седу,

* * *

Машина Кероба стояла у дверей.

– Не подбросишь меня к нам в деревню?

– А он что скажет?

«Он» – это редактор.

– Он думает, что я сейчас в другом месте.

– Ладно, садись... Отвезу тебя – и обратно. Зачем едешь?

– Затосковал по нашему ущелью.

– Ага! – Кероб сказал «ага» так, будто все понял.

Что это его вдруг понесло в деревню? Сейчас письма идут хорошо – по воздуху, в машине, в сумке почтальона. Человек тоже не более чем письмо. Он так же помещен в конверт, с маркой или без марки. Ждут и писем, и людей. И не ждут – ни писем, ни людей. Кероб вел машину спокойно и не сказал больше ни слова.

– Что случилось, Кероб?

– А что?

– Ты побрился.

– Да, побрился, ну и что?

Через четверть часа они были на шесте. Левон сошел у моста.

– Спасибо.

– Я поехал.

С моста он спустился прямо в ущелье. Не хотелось встречаться со знакомыми, с родственниками: сразу пойдут расспросы, почему всё не женат, посыплются приглашения. И только от встречи с бабушкой он бы не отказался. Эта крепкая женщина видела еще католикоса Хримяна, Ованеса Туманяна, пережила три войны, потеряла троих братьев, пятнадцать лет прождала возвращения пропавшего без вести сына, и единственный город, который она знает, – Ереван. Бабушка... Когда она его обнимает, кажется, будто старое сливовое дерево обрело руки – Интересно, что она сейчас поделывает?

Под ногами хлюпала грязь, земля только-только пробуждалась.

Но для Левона приметы весны был иными. Система представлений у него

городская, хотя он лет до двенадцати жил в деревне и родился хам. Смену времен года Левон воспринимал по людям. О приходе весны он узнавал по девушкам. Как только они начинали раздеваться, значит, весна на носу. Сначала снимали пальто, потом плащи, чулки.

Ущелье Касаха очень глубокое. Когда смотришь отсюда, не видно никаких признаков жизни, можно даже утратить ощущение времени. Под ногами рыхлая земля, по обе стороны стеной скалы, сверху крыша неба. Если бы не вонзившиеся в скалы столбы линий высокого напряжения, можно было подумать, что сейчас тринадцатый век. Левон опустился на сырую землю, положил голову на прогретый солнцем камень и закрыл глаза. Слышался лишь шум ущелья, как двадцать, сто и тысячу лет назад. Так будет и через сто лет. Левон вдруг устал от этих мыслей, навеянных дикой природой. Он закурил. Стал вспоминать детство. Это легко на первый взгляд. Не столько вспоминаешь, сколько домысливаешь детство, приблизительно похожее, примерно свое. Что-то уж очень грохочет река. Ну да, весна ведь, вода прибыла. Поток... Слово вспыхнуло, как спичка, осветив потаенные уголки детских лет.

Поток... Бурный поток...

Сколько лет ему тогда было? Верно, девять или десять, война еще не начиналась. Конец мая или начало июня. Втроем купались в реке – он, Вардан и Папик. Папик был старше их, лет пятнадцати. В том году они купались впервые. Папик не давал им заплывать в глубокие места, а им очень хотелось этого, притягивала глубина. И внезапно...

– Поток! – вскричал Папик. – Ребята, вода прибывает, выходите-е!

Они взглянули и увидели, как из-под Петушиного камня бьет ключом мутная, бешеная вода. Вмиг невидимая сила вынесла реку из русла, заполнила берега. Было страшно. Кое-как выбрались из воды, взбежали на прибрежный валун и стали смотреть полными ужаса глазами... Впервые видели они, какая грозная сила вода, их река, их ущелье.

– Одежду унесло! – вдруг завопил Папик. – Одежду!

Раздевшись, они сложили одежду на берегу, а сейчас берег исчез под мутной

водой.

– Что же делать? – спросил Левон.

– Почему я знаю! Что-нибудь придумаем, – ответил Папик.

Вардан заревел:

– Мать прибьет. Рубаху недавно купила и носить не давала-а...

Поток мчался вперед и не думал останавливаться. Они могли вернуться домой, но как быть с утерянной одеждой? Идти голышом?

– Подождем, – сказал Наконец Папик, – пока кто-нибудь пройдет, попросим принести одежду.

Что им еще оставалось?

Голые, дрожа, сидели они на берегу, пока не спустилась темнота. Никто не появился в ущелье.

– Как же быть? – спросил Левон.

– Делать нечего, – хмуро произнес Папик, – пойдём садами, не заметят. Не мерзнуть же всю ночь.

И они отправились.

Помнит, когда он открыл дверь, мать вскрикнула, брат не проронил ни слова. Отца не было – он уехал в Ошакан. Отец не стал бы сердиться или кричать, подошел бы, согрел и одел...

Окоченевший, с трудом ворочая языком, объяснил:

– Вода... Поток унес...

Брат сразу понял, мать запричитала, заохала.

Поток унес одежду, оставив их нагими. Через четыре года Папик ушел на войну и продал, а Вардан стал колхозным бухгалтером. Поток...

Левон открыл глаза. Почему именно это вспомнилось ему?

Поток...

Почему ему припомнился этот день, не потому ли, что они проехали мимо дома Папика, где мать еще ждала сына? Она почти ослепла, дрожат руки, но надежды не теряет – ведь похоронок не было. Возвращаются же другие, вон хотя бы сын Бабкена Чанчапаняна. Какое ей дело до потока жизни, ей нужен ее сын.

Поток...

Почему именно это вдруг вспомнил? А может, и не было вовсе никакого потока, не было и Папика, не существовало даже Вардана, который теперь колхозный бухгалтер? Левон подскочил в страхе. Больше всего боялся он сумбурных мыслей: они опрокидывают все вверх тормашками и часто кажутся куда более логичными...

Ущелье шелестело мягко, необычно. Стояла весна, как тогда. Но как знать, может, в каких-то горах, в безднах и чьих-то душах назревает сейчас поток? Как знать.

3

Автобус тронулся, пассажир, сидевший рядом, слава богу, закрыл глаза. Это хорошо. Левон боялся, что он начнет рассказывать свою биографию, предложит «Казбек», пожалуется на молодежь, которая не уважает старших, ни во что не верит, которая.» Но сосед уснул.

– Не скажете время? – спросила какая-то девушка.

– Вторая половина двадцатого века...

Взгляд Левона еще блуждал по горам. Девушке было года двадцать два, и похожа она была на этот снег в горах, завтра-послезавтра растает, превратится в ручей или цветок, а может, в мутный поток. На руке часы, что же она спрашивает? Какая-то волна поднялась в нем, что-то злое, хотя девушка была красива. Бабушка в таких случаях советовала сосчитать в уме до тридцати девяти, но считать он не стал. От этого стареют, от счета в уме, да и считать долго. Он произнес с оттенком язвительности:

– Девушка, а вас не интересует, от какой болезни скончалась тетушка Наполеона?

– От какой?

– От острого воспаления поджелудочной железы. Есть еще вопросы?

– По поводу теток – нет, а мои часы стоят.

Левон рассмеялся. «Снег в горах вблизи, наверное, не покажется таким белым», – подумал он. Из приемника Шарль Азнавур настойчиво звал Изабель. Сосед Левона проснулся.

– Началось, – буркнул он. – Нет чтобы хоть, когда услышать по этому радио армянскую песню. Эй, водитель, заткни ему глотку...

– Нет, нет, что вы! – запротестовала девушка.

– Поет армянин. Его бабушка в Ленинакане живет, – спокойно сказал Левон и обратился к девушке: – Сейчас четверть двенадцатого.

Снег на далеких хребтах был как белый пожар, а Азнавур продолжал призывать Изабель. В песне, что он пел по-французски, говорят, рассказывается о человеке, который, сидя на могиле возлюбленной, зовет ее. На сколько ладов можно повторять это имя – Изабель. – Изабель?... А может, совсем не о том песня, может, Изабель бросила его, а он сокрушается по безвозвратно ушедшим дням? Но интереснее верить в первый вариант, и Левон даже представил Азнавура у могильного холмика, на ереванском кладбище. А песня все лилась. Изабель, любовь моя!.. Миллиарды раз люди произносили эти слова, только в сочетании с другими именами. Левон посмотрел на девушку и, увидев ее полужакрытые глаза, испугался, что она сейчас начнет рассказывать о своей неудавшейся любви или еще о чем-нибудь в этом роде.

– Куда направляетесь? – спросил он, как если бы сказал: «Прошу передать на два билета».

Она ответила.

– Я тоже, – сказал он.

Азнавур в последний раз воззвал к Изабель, и сосед сказал:

– Слава богу.

Говорят, Азнавур ежедневно по несколько часов проводит у себя в саду, наедине со своими мыслями, и беседует с умершими родными и близкими. Может, иногда человеку и в самом деле необходимо оставаться наедине с собой, со своими мыслями, и именно тогда приходят к нему его близкие, которых он теряет, потому что близкие те, кого теряешь. Только случайные люди всегда

рядом с тобой.

4

Глядя на заспанное лицо председателя сельсовета, Левон гадал, полузакрыты его глаза или они просто маленькие. Председатель был нечесан, на подоконнике стояла керосиновая лампа.

– У вас нет электричества? – спросил Левон без всякого вступления.

– Частенько отключают. И если собрание или что, приходится лампу* зажигать. – Председатель только теперь поднял голову. – погоди чуточку...

Он сидел в маленькой комнате за громоздким письменным столом и старательно крутил ручку телефона, словно это была ручка мясорубки.

– Центральная, а центральная! – Лицо его то выражало мольбу, то кривилось в досаде. – Офик, голубушка, дай-ка райкооп, Самсона... Садись, – это уже относилось к Левону, который примостился на подоконнике возле лампы. – Садись на стул... Офик... Ах, чтоб вашу технику...

Такой телефон Левон в последний раз видел в кинофильме «Чапаев». Председателевы глаза были голубые, на столе ручка, чернильница, на стене, с правой стороны, выгоревший портрет. Левон посмотрел, но не смог определить, чей именно. А председатель одним глазом поглядывал на него, другим косил на допотопный телефон.

– Офик-джан. В январе купим новый портрет, деньги уже перечислили... Офик... – Он снова покрутил ручку. – Вот, работай с таким телефоном. Из Еревана?

– А в тридцатых годах телефоны были только в райцентрах. – Левон сказал то, чем часто попрекали его поколение. – Я из Еревана, из газеты...

– Когда приехали? – Председатель вдруг перешел на «вы».

– Только что автобусом. Мне бы командировочное заверить.

– Уже обратно? – изумился председатель, а потом, словно что-то вспомнив, протянул через стол руку, точно телеграмму подал. – Папикян Бено... Вениамин.

– Левон. Может, ночью уеду, так чтоб вас не беспокоить лишний раз.

– Ага. Завтра меня вызывают в райцентр. С добром ли к нам?

– Мне надо в школу.

В школу? Значит, по поводу детей...

– Да, по поводу детей, – усмехнулся Левон.

– На весь мир опозорились. Утром прокурор был. Еще и из Москвы, говорят, приедут. Влипли в историю... Если из Москвы приедут...

– Он самый и приедет, – с серьезным видом вдруг произнес Левон, указав на портрет на стене, – еще и в сельсовет зайдет. Хорошо, что хоть портрет свой увидит, немного отойдет.

Бено, или Вениамин Папикян, как-то сразу взялся за пояс военного образца, без пряжки, которую, видимо, стащили ребяташки. Он затянул ремень еще на одну дырку, оправил вьетнамскую сорочку и с любопытством посмотрел на Левона.

– Товарищ Тельман?...

– Тельман? – удивился Левон. – Да нет, насчет Москвы я пошутил. А на портрете не Тельман. Демьян Бедный. Как он сюда попал?

Папикян словно впервые взглянул на портрет.

– В субботу... Какой сегодня день? Среда? Да, как раз в субботу я принес портрет со склада. Какой же кабинет без портрета? Парнак уверял, что это товарищ Тельман. Говорил даже, что лично его самого видел.

– Кто такой Парнак?

– Он в плену был. Наш бухгалтер. Говорят, сто двадцать пять книг прочел. Наверное, прочел. Иные из Германии тряпок наволокли, а этот пять чемоданов с картинами и книгами. Дай-ка сюда твою бумажку.

Левон протянул командировочное удостоверение.

Папикян торжественно взял листок, стал крутить его так и сяк, должно быть, затруднялся читать по-русски, открыл ящик и вынул печать, огромную, доставшуюся, видно, в наследство от первого председателя, с самых двадцатых годов. В голове Левона промелькнула мысль о том, сколько могла бы поведать

эта печать, обладай она языком... А Папикян с большим достоинством ткнул печать в соответствующую подушечку и быстро-быстро задышал на нее.

– Куда поставить? Я всего два месяца председателем работаю, был до этого завклубом.

– Поздравляю. – Левон показал, куда приложить печать. – А здесь подпишите. – Потом спросил: – У вас в деревне есть церковь?

– А как же? В школьном дворе, Парнак говорит – с десятого века, – но, видно, история с портретом поколебала веру председателя в Парнака, – кто ее знает, раньше там был склад...

– Вы хотели сказать – школа находится в церковном дворе? – поправил Левон.

– Так, ты верно говоришь, – смягчился председатель, потом, немного подумав, добавил: – Не зайти ли к нам? Школа ведь не убежит. Во-он она, в церковном дворе, – последние слова он повторил с удовольствием. – Ведь небось голоден? Тикуш что-нибудь приготовит, кур у нас много, водка есть хорошая. А?...

Левон с неожиданной симпатией посмотрел на Папикяна, увидел складки кожи, морщины на лице, словно сын-четвероклассник попробовал на его лице перо, и оно нацарапало неровные линии; грубые, будто изваянные из красного туфа руки, отросшие ногти; мысленно проник в ящик его письменного стола, где могли лежать бумаги из райцентра, пара заявлений, в левом углу которых он вскоре напишет красным карандашом: «Выдать пособие восемь рублей как многодетной матери». Левон подумал, посмотрел на портрет на стене, улыбнулся, сложил и сунул в карман командировку.

– Ну как? – спросил Папикян. – Пойдем к нам?

А Левон сказал:

– Знаешь, чей портрет еще надо повесить? – Он уже и на «ты» перешел. – Ованеса Туманяна.

– Туманяна? «Не так, как мы, живите на свете, милые дети...», «Жаль горный цветок Ануш...» – Лицо Папикяна выразило блаженство. – В книжном

магазине едва ли будет. – И немного подумав: – Попрошу из Еревана, а то, может, и у Парнака найдется, а?

– Я пошел, – Левон взял папку в руку. – Если быстро управлюсь, может, загляну, дом твой покажут, надеюсь?

– Покажут, – он довольно улыбнулся, – а то как же?

Вокруг царило то безмолвие, о котором мечтают горожане и которым по горло сыты сельчане. Единственным живым существом был петух, он слонялся по двору, – видно, искал корм и подружку. Сначала, конечно, корм. Левон посмотрел на петуха, не удостоившего его взглядом, на покосившиеся домики, на небо, откуда словно бы только что сошел маляр, коему была выдана на складе одна лишь белая краска. Редкие деревья совсем не вязались с окружающим пустынным пейзажем, они казались позабытыми кем-то, кто сейчас явится и заберет их, вырвав с корнем, после чего останется голый испанский пейзаж. Двухэтажное белое здание школы занавесом парило перед церковью, купол которой выглядывал из-за крыши, осененный крестом.

Его попутчица Татевик, с которой он познакомился в автобусе, будет преподавать французский в соседней деревушке, будет учить деревенских детей читать Бальзака, Аполлинера или письма Робеспьера. Чушь, Татевик уже в будущем году вернется домой, а в воспоминаниях детей она останется как сновидение на каблучках-шпильках, с коленями, которые обнажались, когда она садилась; потом дети и вовсе забудут ее.

Тропа не извивалась змеей, она была древней и пустынной, как небо.

Был тот час, когда взрослые в поле, а дети на уроках. Левону захотелось закурить, и вдруг, когда он очутился в школьном дворе, у входа в здание, вдруг осознал, зачем забрел сюда. Попытался представить лица Асмик и Сероба, которых ему не увидеть никогда, и проклял себя за то, что согласился на эту поездку. Он ступил в чисто подметенный коридор.

О чем же говорить, что писать и кому все это нужно? Прозвенел звонок, и словно началось землетрясение. Тишина, как стекло, лежащее на столе, упала на каменный пол и разбилась. Раскрылись двери, воздух наполнился пылью,

шумом, краснощекими детскими лицами. Левон остановил мальчика:

– Где десятый?

– Я за мелом.

Улыбнулся. Малый тоже улыбнулся и показал, где десятый.

Левон вдруг осознал, что нарочно медлит, оттягивает момент, когда надо будет сесть перед незнакомыми людьми, задавать нелепые вопросы, выслушивать неискренние ответы или просто молчание. Может, еще не поздно повернуть обратно, пойти в гостиницу, взять бутылку вина и... и он открыл дверь. В классе несколько ребят окружили учителя.

– Здравствуйте, я из газеты.

Учитель протянул руку.

– Агабекян. Наверное...

– Да, – быстро произнес Левон?

– Директора видели?

– Нет, с ним после.

– Я старый подписчик вашей газеты, – улыбнулся Агабекян.

– Нельзя ли собрать детей здесь? Мне надо сегодня же вернуться в город.

Учитель позвал детей, все вошли в класс, разошлись по своим местам с безмолвием шахматных фигур и стали смотреть на Левона. Десять юношей, семь девушек, сосчитал он. Если бы приехал неделей раньше, было бы одиннадцать юношей и восемь девушек.

– Кто отсутствует?

– Все здесь, – ответил кто-то из ребят.

– Кто из вас, – Левон нервно сгибал пальцы, – кто из вас был на похоронах?

Ни одна рука не поднялась.

– Никто?

– Я объясню, – вмешался Агабекян, – что им там было делать? Да и директор не велел, и я с ним вполне согласен...

Левон словно не слышал Агабекяна, он с безграничной грустью оглядывал лица ребят. Они казались высеченными из дерева тупым инструментом

неумелого плотника. Он заговорил, ни к кому в частности не обращаясь, просто так, вслух сожалея, размышляя о случившемся, выражая свои сомнения:

– Значит, вместе учились, росли и не пошли проститься в последний раз...

Что мне с вами говорить, о чем, для чего?!

Левон не видел их глаз, только густые спутанные волосы и плечи, которые как будто опускались: никто на него не смотрел.

– А почему все-таки не пошли?

– Я же сказал, – поспешно вставил Агабекян.

– Пусть они сами скажут.

Молчание. Внезапно Левон поднялся. Что за глупый допрос он ведет тут? Он схватил папку, хотел выйти. Поговорит с директором и уйдет, с него ведь спросят только докладную.

– Я ходил, – с последней парты поднялся какой-то парень. Левон посмотрел на него, как если бы тот был его младшим братом. – Ходил, ну и что?

– Ты? – Агабекян пронзил мальчика колючим взглядом.

– И я, – поднялся другой.

Больше никто.

Позднее Левону трудно было припомнить, как после таких слов наконец растаял лед.

...С седьмого класса Сероб и Асмик сидели вместе на предпоследней парте. Две недели назад их рассадили. Обычно Асмик писала за Сероба сочинения, а он решал ей задачи по геометрии. Конечно, писать сочинения он мог сам и она сама решать задачи. Но это был повод сидеть вместе, писать друг другу письма или говорить о самом главном. Что еще? Однажды Сероб поколотил Егиша за то, что тот на уроке физкультуры как-то особенно посмотрел на обнаженные колени Асмик. Это ребята уже после случившегося сообразили, что из-за Асмик, а тогда...

Но... Но однажды их увидели в ущелье, рядышком, среди высокой травы. Кто это заметил, кто пустил слухок в деревне, сейчас трудно выяснить, но все завертелось быстро, бешено, вдруг, как в итальянском кинофильме, клубок

развязался, ниточка потянулась, потянулась... Спустя несколько дней мать Сероба встретила у родника мать Асмик и без долгих околичностей начала: «Девка распутная у тебя, чего ждешь? Выдай замуж – и конец, мало, что ли, таких?...» Мать Асмик сначала побледнела, потом львицей набросилась на нее, схватила за волосы и... Следующее утро принесло невероятную весть: Асмик повесилась в хлеву. Что у них произошло накануне вечером, о чем с ней говорил отец, осталось тайной. На один только миг деревня закаменела перед ужасным несчастьем, а потом сплетня, как снежный ком, разбухая, покатила по узким деревенским улочкам: «Говорят, будто Сероб и Асмик... Господи, прости нас, грешных, говорят, она ждала ребенка, потому и...» Вдруг все опомнились: где Сероб? Стали искать по родственникам, в пещерах, ущельях и даже примирились с мыслью о том, что найдут его труп, когда на третий день он вдруг появился в машине «скорой помощи». Машина остановилась у дверей дома Асмик, врачи вошли, а Сероб остался стоять снаружи и, когда к нему подошли, ни на кого не взглянул, не отвечал на вопросы, он был похож на камень, вынутый из церковной стены. Часа через два врачи вышли, Сероб не подошел к ним, машина тронулась. После отъезда машины снежная глыба покатила в обратном направлении: «Отсохни их языки, зачем опорочили девочку, как стеклышко была чиста, никакого ребенка не могло и в помине быть, профессор сам сказал...» Ночью, как полагалось, тело Асмик перенесли в церковь; кто бы посмел до прихода врачей, ведь есть на небе бог... А наутро: «Ох, сыночек, да что это ты наделал, сынок?» То был голос матери Сероба. Ее сын выпил яд. Прожил он после этого всего четыре часа. Оставил письмо: «Асмик, родная. Прости меня, что прожил после тебя два дня. Я это сделал для того, чтобы все узнали, что ты невинна».

Их похоронили вместе, друг возле друга.

Левон вышел из школы, стоял уже вечер.

Он не останется здесь ночевать, пойдет в райцентр, купит вина, выпьет его в гостинице. Внутри у него все отяжелело от услышанного, на губах была горечь.

Он верил и не верил. Хотел и не хотел ничего вспоминать. Учителя вот что сказали:

«Я видел Сероба, когда он только что узнал о несчастье. Он подошел ко мне: „Что мне делать?“ Я вытащил из кармана три рубля, иди, говорю, выпей, возле сельсовета какой-то аштаракец продает водку. Он не взял деньги. Я ведь думал, выпьет – и все пройдет... Потом бы и поговорили... Откуда я мог знать...»

Это говорил учитель истории.

«Почему я не позволил им пойти на похороны? Может, еще и оркестр надо было пригласить? Не то что-то вы говорите, товарищ корреспондент... Какая там еще любовь, время ли этому? А потом – ведь самоубийство, не как-нибудь. Если слушок просочится за границу, отвечать придется нам. Помните, в тридцатые годы... Хотя что вы можете помнить, с какого вы года?... Вот видите, я и говорю. Во всех классах мы провели собрания, осудили их. Что осудили? Ну, знаете! Комсомольцы покончили самоубийством, а вы спрашиваете, что мы осудили? Как фамилия вашего редактора?... Да на что мне адрес?... Да, да, я знаю его, однажды приезжал в нашу деревню. Конечно, это прискорбный случай, очень нежелательный, и мы должны сделать выводы, значит, воспитательная работа у нас... Напрасно усмехаетесь, вы и с детьми неправильно вели беседу, я скажу об этом где надо. Нет, не угрожаю, но я тоже коммунист и стаж у меня столько, сколько тебе лет, а что касается...»

Это уже директор.

«Ведь вместо того, чтобы уроками заниматься, они, видите ли, любят!.. Что?... Не понимаю вашего вопроса. Когда я любил? А зачем мне любить? Я видел столько влюбленных, которые женятся, через месяц производят на свет ребенка, а через два месяца разводятся. О, вы не знаете нашей деревни, я уже двадцать лет женат, но стоит выйти из дому под руку с женой, начнутся перешептывания. Почему? Вот ведь у вас в городе все поголовно разводятся. Почему поставили гроб Асмик в церкви? Так у нас принято. Ну что вы собираетесь писать, а?»

А это был преподаватель литературы, который, разумеется, не раз рассказывал своим ученикам о трагических историях Соса и Вардитер, Ромео и Джульетты...

Кошмар какой-то. Можно сойти с ума.

Левон проголодался и вспомнил ресторан «Крунк» в Ереване, где хорошо кормят и приятно посидеть, выпить кофе, поглазеть на улицу сквозь стеклянные стены. Будь он архитектором, строил бы и жилые дома из стекла, чтобы люди не прятались, а жили открыто, обнаженно, без притворства. Нелепая, конечно, мысль.

А в «Крунке» Анаит одну за другой, не спрашивая, подавала бы ему чашечки кофе и только на пятой сказала бы: «Последняя». Там все привычно, там его знают, а может, и любят. Не обсчитывают никогда. Можно даже взять в долг, и будут ждать месяцами. Стеклянные стены не мешают там чувствовать себя как дома.

Деревенская улица была обычной деревенской ущицей. Уже темнело, стало оживленно, появились люди, телеги, какой-то грузовик застрял в грязи, и осел упрямо торчал посреди улицы, не желая двигаться. Ноги у седока были непомерно длинные. Он напомнил Левону его односельчанина, тоже долговязого, из-под которого, было дело, осел ушел, а хозяин этого и не заметил...

Чужое села не книга на иностранном языке, а родственник, которого никогда прежде не видел, а встретил – и выиграла родная кровь, оба уже вспоминают всех родичей. Но Левон не понимал охватившего его чувства. Он сейчас с ненавистью смотрел на все: на людей, на дома, даже на детей. Это было какое-то наваждение.

Может, разыскать председателя сельсовета и попросить машину до райцентра? Какой дальше смысл здесь оставаться? Что еще выяснять? Тьма сгущалась, сельская улица начинала походить на творение импрессиониста. Левон пытался хоть что-то осмыслить в этой непостижимой истории, которой позавидовали бы все сентиментальные писатели мира: просто садись за машинку, отстучи ее как есть, и ты обеспечен по меньшей мере сотней тысяч читателей в возрасте от шестнадцати до двадцати. Критики, конечно, скажут, что в наши дни такого не бывает, может, даже тиснут статью в газете, станут

утверждать, что у автора большое воображение, что он взял все это не из нашей светлой жизни и тому подобное. Нет, в этой истории еще много непонятного, и надо кое-что уяснить для себя самого. У председателя сельсовета они проговорят до ночи, тот опять поведет речь о кладовщике Парнаке, который видел Эрнста Тельмана или Эрнеста Хемингуэя, Левон наестся сваренной хозяйкой курятины, увидит почетные грамоты, полученные хозяином в двадцатые годы. Потом и в нарды могут сыграть, а затем он уснет, подложив под голову, вышитую Тикюш подушечку, и сниться ему будут либо бабушка, недовольная своими дочерьми и невестками, либо Севан, куда они поедут с одноклассниками и с Акопом, умершим шесть лет назад. Нет, не останется он здесь. Пойдет в райцентр прямо пешком. Ничего с ним не случится. Дойдет, переночует в гостинице, а утром айда в Ереван... На крылечках сидели люди, как в романах Прошяна. Левон шел медленно, курил. Нет, все-таки надо найти Папикяна, пока село совсем не потонуло во тьме.

Он спросил у первого встречного:

– Где дом председателя сельсовета?

– Бено-то? Вон он сам стоит у родника.

Папикян уже шел Левону навстречу.

– А я думал, ты уехал.

– Чуть не уехал.

Они пошли по какой-то дороге, выныривающей из деревни. Левон спросил, куда она ведет.

– На место отдохновения, – ответил председатель.

Это значит – на кладбище... Кладбище начиналось сразу. Первая плита наполовину ушла на дно ручья, отделявшего поле от кладбища, буквы на плите стерты временем – и темнотой.

Шли уже по самым надгробиям, другого пути не было. Плиты вросли в землю, лежали впритык, стершиеся, как жернова. И только часть камней пока еще возвышалась над землей.

– Старое кладбище?

– Да, новое чуть в стороне.

– С какого года плиты здесь, не знаешь?

– Парнак говорит – с четырнадцатого века. Опять этот Парнак, местный академик, энциклопедист, пророк и гадалщик.

– Покажешь?

– Темно, да я и сам толком не очень все тут знаю.

Местами соединенные могилы казались единой туфовой глыбой, – может, так и образуются многие карьеры, откуда потом добывают камни для могильных плит, лестниц и родников. Глупые мысли лезут в голову на кладбищах – будто усмешка над ежедневной людской суетой. И особенно – над надеждами. Показались и новые плиты, отделенные друг от друга железной изгородью.

– Вот здесь, – сказал Папикян.

– Что?

– Могилы ребят.

Левон посмотрел на два холмика рядом, под которыми покоились Асмик и Сероб. Здесь лежал букет полевых цветов, больше ничего. Через год будут, наверное, и плиты, деревенский каменотес высечет: «Тут покоятся...», и продлятся непрожитые годы Сероба и Асмик, продлятся надолго, пока все кладбище не уйдет под землю и не окаменеет земля.

Левон отошел в сторону. Новых плит было мало, и сразу за ними начиналось открытое поле. Вдали виднелась длинная вереница бульдозеров и еще каких-то машин, несколько финских домиков, окна которых ярко светились.

– Что там?

– Говорят, атомную станцию собираются строить, – сказал Папикян, – как-то мы с секретарем побывали там.

– Электростанцию, что ли?

– Шутишь! – оскорбился Папикян. – Сказал же тебе – атомную.

– А какая разница?

– Кто знает. Учитель физики как-то объяснял... Да ты и сам знаешь!

– А что думает на этот счет Парнак?

– Рассказывает, в Германии много их... Старухи очень боятся, говорят, рак от этого начинается. Вот и пойми. А секретарь райкома сказал – для района большая честь, что у нас строят. Ты-то как считаешь?

– Я? – Левон посмотрел на тощую фигуру Папикяна, на оставшиеся позади них могилы, на выстроившиеся вдали бульдозеры и ничего не ответил.

Повернули назад. Снова прошли между могил, потом – по могилам, а деревня с освещенными окнами вдруг показалась целой планетой, потерянной и вновь обретенной. От этой мысли Левон зевнул, а Папикян сказал:

– Поужинаем – и спать. Нарды подождут до завтра.

5

Утром, едучи в кабине грузовика в райцентр, Левон попросил водителя проехать мимо атомной станции. Ничего особенного он не увидел: много бульдозеров, десятки самосвалов и люди.

– Деревня здесь была, переселили, – сказал водитель, – и нас, наверное, тоже... Ищу вот, кому дом продать.

– Да кто же у тебя его купит, если переселяют?

– Как знать... Парнак, правда, говорит, что никакого переселения не будет, в Германии, говорит, прямо в больших городах строят эти станции, но как знать...

Дорога скрылась за холмом, водитель что-то рассказывал, а Левон все старался припомнить, какого цвета были глаза Папикяна. А вообще-то ничего он не хотел вспоминать. О чем бы ни думал, Сероб и Асмик безмолвно вставали перед ним, заглушая своим молчанием остальной мир, остальные голоса. Что ему писать, как поставить рядом с атомной станцией эту трагическую и даже сентиментальную историю, словно сошедшую со страниц романов Прошяна? Кто в нее поверит, наконец?

– Гарник, зачем эти ребята убили себя, а?

– Почему я знаю, – водитель грузовика смотрел на дорогу не мигая, – больно

умные были.

– Ты когда-нибудь любил?

– Азгуш-то?

– Кто такая Азгуш?

– Жена моя, кто ж еще?

– Ну... Азгуш или еще кого.

– Смеешься...

– Почему?

– Как-то повез я груз в Краснодар. Вот тамошние девушки – это да. Бывал ты в тех местах? Краснодар!.. В столовой одна прилипла, не отцепиться. Она мне по-русски шпарит, а я... Олей звали. Хорошая была девчонка. «Напиши мне письмо», – говорит... Ну и умора! – Потом вдруг обернулся: – А ты чего это спрашиваешь, любил я или нет?...

– Просто беседуем – и все, чего злишься?

– Да я не злюсь. А Сероб был парень что надо. Если честно, нашу деревню надо облить авиабензином и сжечь.

– Авиабензином?

– Да, чтоб скорее занялось. – Гарник засмеялся. – В Краснодаре...

На дороге кто-то «голоснул», и Гарник притормозил.

– Ну?...

– В райцентр едешь?

– Чудак, до города всего четыре шага. Ноги свои жалеешь? Или ты внук Лорис-Меликова? – И он тронул дальше.

– Посадил бы его, – сказал Левон, – чего не взял?

– Уже доехали. В Краснодаре я прожил пять дней, все бы отдал за эти дни, только вот плохо, что по-русски не знал. А ты, брат, прокурор?

– Разве похож? – Левон рассмеялся.

– Я смотрю, ты по этому делу приехал, а?

– Почти что прокурор. Если бы поручили мне это дело, всю деревню отдал бы под суд по этому делу! – Он вдруг ощутил в пальцах нервное напряжение,

действительно представив на скамье подсудимых педагогов, родителей, Папикяна, всезнающего Парнака, вот этого Гарника, который конечно же не любит своей жены, но тоже небось замахивался на любовь этих ребят, на этот подснежник, не проживший и недолгой своей жизни, – всех, всех, всех. – Ужасная история, постыдная.

– А что? – Гарник распалился. – Что постыдного-то? Хочешь, чтобы как у вас в Ереване? Девушки, да что там девушки, пожилые бабы малюются. Ни стыда, ни совести не осталось, не разберешь, кто стар, кто молод. Хочешь, чтоб как в Ереване?

– Нет... как в Краснодаре! – зло бросил Левон.

Гарник проглотил какое-то несказанное слово, смущенно посмотрел, потом пробурчал:

– Доехали... У милиции сойдешь?

– Нет, прямо здесь, на попутной в Ереван поеду.

Он вышел.

Гарник тоже вышел, постоял в нерешительности несколько минут, не зная, что делать. Если бы у этого прокурора хоть чемоданишко был, вынес бы, сказал пару слов...

– Ну ладно, ты не жди. – Левон протянул руку. – Спасибо. Привет Папикяну и Азгуш.

– Извини, если что не так, – сказал Гарник. – Будешь в наших краях, заходи, не то обижусь.

Левон глядел вслед машине, пока она не скрылась за поворотом, и пошел по направлению к деревне.

6

– Вчерашняя девушка? – спросила дежурная гостиницы. – Это такая крашенная? И губы намалеванные? А тебя случайно не Леоном зовут?

– Да, и волосы крашены, и губы... И меня звать Леоном.

– Чего сердишься, братец? Она сказала: «Если спросит Левон, передайте – буду в четыре часа». А кто она тебе?

– Невеста. – Левон серьезно посмотрел на женщину. – Не нравится?

– А тебе что до того, нравится мне или нет? – Женщина, по-видимому, обиделась. – Сын и то не стал слушаться, а уж ты... В одном номере будете или как? Вчера-то свободных номеров не было, она в общем спала.

– Мы не расписаны. Разве можно?

– Нет, брат, деревня деревней, а закон есть закон.

– Ничего не поделаешь! – засмеялся Левон. – В четыре приду.

Он решил заглянуть в райком, к Рубену, убить время до возвращения Татевик.

Еще вчера утром он ничего не знал об этой деревне, о двух неприметных могилах, не знал Папикяна, учителей, перепуганных школьников, еще вчера он мог с кем угодно поспорить, не поверить в возможность подобного происшествия. Прошел всего день. «Оставьте нас наедине с нашим горем, Христа ради! – вздохнул отец Сероба. – Чего копаетесь, хотите на весь мир осрамить?» К родителям Сероба они пошли с кладбища, несмотря на явное нежелание Папикяна. На стене был прибит увеличенный портрет сына в траурной рамке, под столом лежала коричневая школьная сумка из клеенки, к ней Левон не стал притрагиваться, вынимать книги или листать тетради. К чему? Отец хмуро сидел на тахте. Принесли водку, выпили по одной. Мать так и не появилась. Отец взглянул на портрет, пробормотал что-то. Папикян пробормотал: ничего, мол, не поделаешь, что было, то было. Левон не нашел слов, которые не казались бы ему глупыми и затасканными, и просто глотнул прозрачную жидкость, а с ней и все слова, которые собирался произнести. Зачем он явился сюда и что он мог сказать этому сокрушенному горем человеку? «Да ты о чем, отец? О каком сраме? Дай бог, чтоб многие имели таких сыновей, как Сероб». – «Золотой был парень, и правда. Кабы не эти кино и книги, истинное золото был. Ни одной картины не пропускал, два раза меня с собой брал в кино. Мир перевернулся, сынок, прямо на нашу голову». – «Ничего плохого Сероб не

сделал, отец, ну что он сделал?» – «Да в одном только кино сколько целуются! Разве мы тоже не были молодыми? Не говори мне ничего...» Выпили еще. Папикян сказал, что утром у него заседание сельсовета, отец Сероба мрачно взглянул из-под бровей и налил Левону водки. В этом бессмысленном разговоре проступала горькая печаль, и Левон вдруг с отвращением подумал о своей работе, о жизни, о газете, где по рублю растрчивает жизнь, в общем-то ведь выигранную в лотерею. Он поднялся, еще раз окинул взглядом, желая запомнить этот дом, стены, потолок, кровати с вышитыми подушками.

К родным Асмик он не зашел.

До полуночи бродил Левон по деревенским улицам, и если бы собаки ухитрились замолчать, подумал бы, что это кладбище. В тишине села, которой еще вчера он восхищался, была огромная печаль.

– Товарища Нагапетяна? Он занят, – проговорила секретарша.

Из окна приемной виднелся балкон жилого дома, где сидели и играли в нарды двое мужчин. Секретарша, очень молоденькая девушка, всячески старалась выглядеть старше. Она искоса поглядывала на Левона, он это видел и почему-то решил, что она должна быть похожа на Асмик.

– Не скоро товарищ Нагапетян освободится? – Левон усмехнулся про себя, потому что это была фамилия Рубена. – Я очень спешу.

Девушка пожала плечами: дескать, ничем не могу помочь.

– Сколько вам лет, девушка?

Она словно бы удивилась, но улыбнулась спокойно.

– А сколько дадите?

– Семнадцать – восемнадцать.

– Семнадцать.

– Чудесный возраст!

– Всем когда-то бывает семнадцать.

«Остаться бы навсегда семнадцатилетним». Где он слышал эти слова? Какая-то притягательная сила есть в этой цифре. Левону надоело ждать, но он не решался уйти, не повидавшись с приятелем, – тот мог обидеться. В сердце опять

просочилась тоска. Нет, не помнит своих семнадцати лет и не подумал бы продлить этот возраст на всю жизнь... Просто присутствие семнадцатилетней девушки лишний раз подчеркивало, что ему уже тридцать три. А в тридцать три, наверное, можно сказать – пусть не кончится этот возраст... Он опять вспомнил Сероба и Асмик и извлек из кармана сигареты.

– Можно?

– Конечно. – Секретарша заалела, – видно, у нее впервые спрашивали разрешения.

– А можно узнать ваше имя? А то неудобно, разговариваем и... Я – Левон. И вообще, можно на «ты»?.

– Пожалуйста – Егине.

– Ты слышала о самоубийстве ребят, Егине? Что скажешь?

Она взглянула на Левона голубыми, чистыми глазами. Тем двоим было по семнадцать лет, И этот возраст никогда не кончится. Какая разница между прожитыми и непрожитыми годами, какое дело этому воздуху, цветам, воде, улицам и миру до того, кто будет жить, ты или другой? В голубых глазах Егине вопросов не было, она еще не научилась спокойно глядеть на подлость, как и те двое, семнадцатилетние. Еще научится смотреть, научится щурить глаза, разговаривая, прятать взгляд, а потом и вовсе лгать. Те двое, чьи семнадцать лет не кончатся никогда... уже ничему не научатся. Левон, казалось, позабыл свой вопрос.

– Слышала, – ответила Егине. – Сероба я знала, мы вместе ездили в Ереван, занимались в танцевальном кружке. Не поверила я, всю ночь не спала...

– Почему же не поверила?

– Не знаю, не знаю.

Звонок.

Егине вскочила, поправила волосы.

– Что о вас доложить?

– Скажи просто – Левон, в школе вместе учились.

Дверь с грохотом распахнулась.

– Ну и человек! – На пороге стоял Рубен. – Так бы тут и проторчал? Не стыдно? – Потом заключил его в объятия, расцеловал. – А она мне только сейчас...

Егине виновато жалась к стене.

– Мы тут с Егине беседовали. Как живешь?

Они прошли в кабинет, где сидело человек пять. Рубен представил:

. – Мой школьный товарищ, известный журналист. Будьте осторожны, не попадитесь ему на язык. – Он уселся в свое кресло. – Сейчас, Левон-джан, всего две минуты. – И обратился к тем: – Так ясно, что делать?

В кабинете Рубена кое-что изменилось: одним телефоном стало больше, письменный стол, был новый, более современный, у окна высился огромный фикус в кадке. Рубен располнел, и вид у него был усталый, – наверное, выпил накануне вечером. Девон с нежностью посмотрел на друга, встал, отошел к окну: те двое в окне еще сражались в нарды. Левон позавидовал их увлеченности.

Рубен проводил своих посетителей.

– Меня нет, – сказал он Егине. – Принеси две чашки кофе и минеральной воды. – Подошел, сел рядом с Левоном. – Письмо твое получил.

– Придешь, не занят?

– Думаю, приду, если только...

– Никаких если. Как живешь?

– Э! – Рубен утомленно махнул рукой. – Нелегко. А ты что подделываешь? Чудо, что вспомнил.

– Я что, человек я маленький, статейки пописываю, ты о себе лучше расскажи.

– Зачем приехал?

Он ответил.

– Н-Да... – Рубен вдруг посерьезнел, или это Левону показалось? – Будешь писать?

– Не знаю, право, ужасная история. А ты что скажешь?

– Мне докладывали. Значит, напишешь?

– Едва ли напечатают. Да и не смогу, наверно, написать.

– Слушай, а ты не женился? – спросил Рубен. Он, должно быть, думал о чем-то другом, и не мог оторваться от мыслей, и хотел, чтоб Левон говорил, рассказывал. Левон это понял, все-таки они были давнишние друзья.

– Не женился. Если бы женился, ты бы узнал, понимаешь, дела у брата неважные... Послушай, если соберемся, не надо в «Армению», там до тошноты все знакомо, официантов по имени знаю, махнем на Севан или еще в уголок поглуше.

Рубен наконец избавился от своих мыслей, с улыбкой посмотрел на него, как на младшего брата, и проговорил:

– Я на четыре года старше тебя.

– Три года и пять месяцев, гордиться особенно нечем.

– «Стареем, Паруир Севак, стареем, дорогой, на сверстниц своих смотрим уже как братья».

– Нет, – сказал Левон, – уж ты, во всяком случае, не станешь смотреть на женщин как брат, разве что в восемьдесят лет...

Егине принесла кофе и минеральную воду. Рубен вынул из сейфа коньяк. Выпили молча. Левон взглянул на часы.

– Мне надо идти. Встретимся через несколько дней, поговорим. Пойду.

Еще выпили.

– Куда торопишься?

– Меня девушка ждет, мы с ней в автобусе познакомились.

– Ого!

– Ничего не «ого»! Просто ехали вместе.

– Недурное начало. Ну, не удерживаю, коли так. – Они встретились взглядами, и Рубен вдруг вспомнил: – А что с братом? Говоришь, плохи дела?

– Ничего, – сказал Левон, – ты же знаешь Ваграма.

– Да-а, – протянул Рубен, – если чем смогу помочь, скажи.

– Спасибо. Тогда приходи в воскресенье.

– Приду. – И вдруг опять: – Ты того... будешь писать о самоубийстве?

– Не знаю.

Провожая, отец Сероба сказал в темноту: «Уеду я из этой деревни. Отец у меня из Битлиса. Поставлю через год камень и уеду...» Левон сжал его руку, шершавую, как ноздреватый камень, и снова увидел под столом сумку Сероба. «Ты какую любишь курицу – вареную или жареную?» – уже на улице спросил Папикян.

7

Татевик не выпила ни рюмки, и Левон один прикончил бутылку. Но от этого давешняя тоска давила еще сильнее. Прическа Татевик и стянутая в узкое шерстяное платье фигура не вписывались в фон райцентровской столовой, в соседство с, безвкусными скатертями, небритым официантом, приторно-слащавой восточной мелодией, льющейся из спрятанной где-то радиолы.

Уже в третий раз Левон спрашивал:

– У вас нет другой песни?

На что буфетчик отвечал одно и то же:

– Нет, братец, если не нравится, могу выключить.

– Нет, ничего. Как тебя зовут?

– Армен, но ребята зовут Бармен.

– Бармен?

– Прошлый год туристы тут обедали, один подошел ко мне, «бармен» говорит и знаками что-то показывает. Я-то догадался, что ему нужен вож, а вот имя мое откуда он узнал, а? Я говорю ему: все правильно, во только я не Бармен, а Армен. Он подозвал переводчика-армянина, и я ему все объяснил. А от рассмеялся и что-то туристу этому сказал, тот. передал своим, и все принялись смеяться. Я сделался весь красный и говорю переводчику: «Постыдился бы срамить меня перед этими собачьими детьми, не армянин ты, что ли?» А он мне: «Не обижайся», – говорит. Выходит, что у туристов этих самых, у бельгийцев,

буфетчика барменом зовут, а я-то думал, заграничный малый имя мое знает. В общем, попало это на язык нашим ребятам, и весь район меня теперь Барменом зовет. Выпьем по одной?

– Выпьем, дорогой Бармен, буду писать о тебе.

– Что будешь писать?

– В газете, а? Пускай теперь вся Армения об этом узнает. Ну?

– Как родному брату говорю, обижусь, если напишешь.

– Шучу, – успокоил его Левон, – поехали.

– А что она не пьет? – Буфетчик показал головой на Татевик, поднялся с места, ушел в буфет и вернулся с бутылкой. – Итальянское, два дня назад здесь были туристы из Италии, – он повернулся к Татевик, – девушка с ними была, любо-дорого смотреть, я ей коньяк подарил, а она мне это вино. Обижусь, если не попробуете.

Левон взял в руки пузатую бутылку, оплетенную соломкой, вспомнил Италию и сказал девушке:

– Вино совсем слабое. Выпьешь?

– Ей-богу, обижусь, – упорствовал Бармен.

– Ну хорошо.

– А мы коньячку. – Он наполнил рюмки.

– На, спрячь, – Левон протянул ему бутылку с вином, – спасибо.

Буфетчик ушел, захватив бутылку, турецкая мелодия кончилась, радиола бессмысленно сипела, и эти звуки были Левону приятнее.

– Не останусь я здесь, – сказала Татевик, – представляешь, даже кинотеатра нет, бани нет, придется снимать угол в доме, где топят зимой кизяком.,,Электричество дают после восьми вечера, а директора школы зовут Агабек.

– Просто ужасно, – сказал Левон.

– Что?

– Что директора зовут Агабек.

Татевик засмеялась.

– Знаешь, – заметил Левон, – если потянуть за нитку твое платье, через несколько минут ты будешь голая.

– Циник.

– Но я буду уже очень далеко. Сколько километров нити на тебе, представляешь? Так что я не опасен. Остается Бармен.

Посмеялись. У Татевик были изумительные зубы, и смеялась она с удовольствием, но едва погрустнеет, сразу делалась похожей на маленькую обиженную девочку, и в такие мгновения Левону становилось вдруг необъяснимо жарко. Она уже рассказала, как ее приняли в школе, о своем первом уроке. В ее голосе слышалась и какая-то гордость. Первый урок, первые ученики...

– Я буду часто приезжать сюда.

– Не будешь... И потом: что от этого изменится?

– Я обижусь. – Коньяк уже играл в жилах, а Татевик казалась все красивей и красивей. – Значит, мой приезд ровно ничего не значит?

На дворе уже вечерело, следовало бы встать и уйти. Бросить все: могилы этих бедных детей, Папикяна, славного парня Бармена, Татевик, которой кажется, что ее жизнь кончилась, но которая привыкнет и к редким купаниям, и к кизяку. А не привыкнет, вернется домой. Ничто на свете от этого не изменится, только тоска станет острее. Он еще выпил. Может, это заглушит одиночество, преданно ожидающее его дома, в желтых стенах, в виде телефона, неприбранной постели, магнитофона, разбросанной на стульях одежды. Если бы Татевик не смотрела таким добрым и теплым взглядом, они отправились бы в гостиницу, было бы легче, и жизнь показалась бы доступнее, проще, нацеловались бы и решили, что влюбились еще в автобусе, когда Шарль Азнавур звал Изабель...

– Проводишь меня, Татевик?

– Уже? – Она не смогла скрыть тревоги в голосе. – Конечно, провожу.

Левон подошел к буфетчику, расплатился.

– Я уезжаю, – произнес он. – Татевик будет захаживать сюда, смотри, чтоб никто ее не обижал.

– Будет исполнено! – Небритое лицо буфетчика гордо вздернулось. – Как за своей сестрой... Поезжай и ни о чем не беспокойся, но смотри, не пиши обо мне...

На улице Татевик взяла его под руку, и они медленно направились к перекрестку, что должен был их разлучить.

– Если в субботу приеду, позвоню, – сказала Татевик.

– В воскресенье меня не будет, – сообщил Левон.

– Н-да, – протянул редактор, – странное ты рассказываешь. В наши дни – и вдруг такое. Не знаю, что и делать. Будешь писать?

– Обязательно, – сказал Левон. – Там я еще сомневался, а теперь... Я много думал. Молодежная газета, кто же должен написать, если не мы?

Редактор курил. Это он делал, только когда сердился или дежурил в типографии. Лицо у него было усталое, и Левон пожалел его.

– Не писать?...

Редактор вскочил, словно испугавшись, что кто-то разгадал его тайные мысли.

– С чего ты взял? Думаешь, испугаюсь, не напечатаю? Только вы такие храбрые! Ни семьи у вас нет, ни забот, ни давления...

– При чем тут семья?

– Да так, – редактор устало и равнодушно посмотрел на Левона, – ни при чем. Я просто думаю: как совместить это самоубийство с нашей молодежью, творящей чудеса? Вот и ты подумай: как совместить, а?

– Жизнь, как видишь, совмещает, – сухо произнес Левон.

– Жизнь, жизнь! Что ты понимаешь в жизни...

– ...когда даже войны не видел, – усмехнулся Левон. – Ты это хотел сказать? Ни войны, ни голода, ни трудностей. Ничего-то я, по-твоему, не видел. А я вот видел! И войну, и голод, и трудности. Много видел...

В комнате сделалось напряженно тихо, как перед битвой или после нее. Левон пожалел, что погорячился. На него вдруг навалилась усталость – лечь бы

и проспать несколько дней подряд. Редактор что-то чертил на бумаге.

– Да ты пойми меня, – сказал он, – и не злись. Приходишь и обвиняешь всех учителей, все село – это еще куда ни шло. Но хочешь сделать героев из этих слабаков!..

– Эх, да ладно! – Левон махнул рукой и вдруг вспомнил Татевик, которой он два дня назад читал мораль в провинциальном кафе. – Скажи лучше, что делать.

– Что делать? Пиши. Но ты хоть в двух словах дай этому объяснение и свое отношение, назови слабость слабостью, скажи, что они не должны были...

– По-твоему, Маяковский был слабый человек?

– Маяковский! Спятил ты, что ли?

– Он ведь тоже покончил с собой, в любом учебнике литературы об этом написано.

– Ну и что?

– Ничего, это я к слову. Могу и другие примеры привести.

Редактор! ничего не ответил. Они молча смотрели друг на друга. Редактор уже устал. Левон тоже мог бы поставить точку. Что разговор будет таким, он предвидел еще там, в деревне, и мысленно проговорил его дорогой. Ничего нового, словно известный вариант шахматной партии, все ходы которой заранее знаешь. Чего он хочет от человека, когтями вцепившегося в свое кресло? Эх, очутиться бы сейчас в снежном поле, чтоб кругом была тишина. Не чувствовать тяжести прожитых лет, ничего не чувствовать... Не чувствовать? Левон часто думал, что человек отличается от животных не способностью мыслить, а способностью чувствовать. Не чувствовать – не любить, не ждать, не ненавидеть, не грустить, не жалеть, не отчаиваться? Это было бы ужасно. Кто знает, может, некоторые животные и думают, вот хотя бы дельфины, но чувствовать могут лишь люди. Левон устал от этих мыслей, вспомнил, что обещал позвонить вечером Татевик, что сегодня четверг, а в воскресенье утром у него встреча с ребятами. Он еще раз посмотрел на редактора, как посмотрел бы на себя, пожалел его, как пожалел бы себя. «Оба мы, брат, – подумал Левон, – персонажи

одной комедии». Мысль эта была неприятна, лучше драться, ругаться. Года два назад в Сибири он познакомился с русским парнем, тот писал стихи, Левону запомнились слова: «Люди подпирают небо плечом, чтобы оно не обрушилось, как же мне отвести свое плечо?» Может, не совсем точно, но примерно так. Что-то хорошее было в этих стихах, наивное и удивленное, пожалуй, именно вера. Отказаться от борьбы, примириться – значит убрать свое плечо из-под небесного свода, точное название которому жизнь.

– Пиши! – заключил редактор. – Посмотрим, как получится. Того коньяку не осталось?

– Французского?

– Ага. С портретом Наполеона.

– Нет. Виски есть, шотландское.

– Не пей один.

– Ну ладно, я пошел.

В приемной секретарша сказала:

– Позвоните домой. Звонила ваша невестка, просила сейчас же связаться с ней.

Он набрал номер.

– Асмик?

– Левов, это ты? Ваграма взяли в больницу. Можешь приехать?

9

Вечером позвонила Татевик и сказала, что приедет в субботу, что дважды обедала у Бармена, соскучилась по кафе «Крунк». Их прервали, потом зашел Ашот. Алина сдала минимум по философии и на время освободила его от вечерних забот. Они заговорили о болезни Ваграма. Ашот – врач той больницы, где лежит брат. «Пока ничего определенного», – сказал Ашот. Выпили по рюмке виски. Левон вспомнил редактора.

– Завидую тебе, – сказал Ашот.

Всем женатым кажется, что неженатые счастливы.

– В чем же дело, разведись, – посоветовал Левон.

– Ты что, с приветом?

– А что ты тогда хочешь?

– Женишься – поймешь.

– Не женюсь.

Он вдруг встревожился за Ваграма. Еще вчера ему было чуждо это чувство, он жил, месяцами не видя брата и мать. Казалось, так можно прожить всю жизнь.

– Слушай, я за Ваграма очень боюсь...

Ашот не ответил, он медленно отпивал виски и был чем-то доволен. Виски было горьким и непривычным.

– Ничего, я думаю, обойдется. В субботу подробнее узнаем о нем. На сердце он никогда не жаловался?

– Бывало, жаловался. – Левон редко заходил к брату и знал о нем не очень много. – Трудная у него была жизнь.

– Знаю, ты говорил. Кстати, ты ведь, кажется, что-то писал про нашего врача Армяна? Вчера он интересовался.

– Написал, да не напечатали. Меня мало печатают.

– Потомки оценят, – засмеялся Ашот. – А в чем дело-то?

– Долгая история.

Снова позвонила Татевик.

– Разъединили. – Голос у нее был визгливый, детский, она, видимо, кричала в трубку, чтобы было слышно. Левон подумал, что ему уже нечего сказать, и в душе посочувствовал ей: ведь сколько, наверное, ждала, пока снова соединили.

– Соскучился, – сказал Левон.

– В самом деле? – вскрикнула из своего далека Татевик.

И Левону стало совестно, он понял, что не надо шутить такими словами с девушкой, которая, может, уже созрела для теплоты или даже для любви и, чего доброго, напридумывает себе сказок и станет потом ночами строить планы, ждать.

– Кто это? – все приставал Ашот.

– Ну ладно, приедешь, поговорим, Татевик.

Глаза Ашота так расширились от любопытства, что Левон поспешил утолить его нетерпение:

– Молодая девушка. В автобусе познакомились. Будет в деревне французский преподавать. В субботу приезжает. Есть еще вопросы?

– Есть. Хорошая девушка? Женись.

– Только что ты завидовал неженатым.

– А чем ты лучше нас?

Посмеялись, выпили. Все жаждут того, что потеряли или не имели совсем. То, что есть, приедается. До чего все мужчины похожи! Когда же все-таки уйдет Ашот, который так явно рад своему холостяцкому вечеру? Оставшись один, он выпьет, попытается поработать. Но сейчас, пожалуй, и не писалось бы. Все слова похожи на истертые игральные карты, найти бы другие, сдержанные и немного сжатые. Это как сборы в дальнюю дорогу, когда надо уложить в небольшой чемодан только самое необходимое. Найти нужные слова, сжать их в предложениях-чемоданах, но не набивать, словно шпроты, в банку. До сих пор у нею так не получалось, а на этот раз должно выйти, иначе нельзя, иначе будет душещипательная история об армянских Ромео и Джульетте, ставших жертвой деревенского невежества и косности. Это, конечно, одна из причин, но не самая главная. Подобный случай на фоне второй половины двадцатого века, у народа, имевшего свой театр еще две тысячи лет назад и строящего сейчас на своей земле атомную станцию, – вот где гвоздь этого дела, только его не вбивать надо, а вытащить хотя бы наполовину. Хотя бы... Трудно.

– Уснул? – Это Ашот, значит, он еще не ушел.

– Нет. Хочешь кофе?

– Боюсь, сон отобьет.

– Ты сегодня не уснешь от счастья.

– Только не сладкий.

Хоть бы Алина позвонила, а он-то надеялся, что от кофе Ашот откажется.

Итак, он начнет со старых кладбищ. И что? Нет, так не пойдет. Может, с беседы с Гарником? Он лениво поднялся и пошел на кухню. Папикян рассказывал, что из соседней деревни умыкнули девушку, а она возьми и заяви в милицию, что никто ее не крал, просто на «Волге» прокатили. Вот и пойми после этого что-нибудь, создавай логические связи. Вспомнился всезнающий Парнак. Он, говорили, привез из Германии два чемодана фотографий, изображающих, должно быть, женщин. Тоже живет в том селе.

Постепенно вырисовывается уравнение с тысячью неизвестными. Кофе убежал, огонь стал красным и зашипел. Может, начать с Егине? Вспомнились строки Чаренца: «Девушка, как светильник, с глазами богородицы...»

Богородицы? Ну, не совсем. Просто ей семнадцать. «Всем когда-то бывает семнадцать», – сказала Егине. Возраст – это не только сумма лет, а мировоззрение, взгляды на мир, на людей, готовность от всего отказаться или все принять. Брату ничего от этого не досталось.

Ашот молча отхлебывал кофе.

Закурили.

– Ну, ступай, – сказал Левон, – а я малость посплю.

– Иду, иду, – с готовностью поднялся Ашот. – Отпуск мой кончился, велено возвратиться к одиннадцати. Я, кажется, допек тебя, да?

Посмеялись.

Теперь он останется один.

Один. В субботу приедет Татевик. Позвонить Лилит, что ли? Лилит семнадцать было бог знает когда, и она ужас как боится постареть хоть па один день, но растрчивает свою жизнь так, будто это случайно найденные деньги. А Ашот уже дома, сейчас будет пить чай с вареньем из роз, затем облачится в полосатую пижаму и уснет, повернувшись к жене спиной. Почему он выбрал одиночество? Э, да разве человек выбирает что-нибудь сам? Он набрал номер.

– Лилит?

– А-а, Левон... Что это ты пропал?

– Меня не было в городе. Как ты? В деревне парень и девушка покончили

самоубийством. Тяжелая история.

– А из-за чего?

– Из-за любви.

Лилит замолчала. Сидит, наверное, на кровати, с телефоном на подушке, в небрежно накинутом халатике, в пепельнице недокуренные сигареты. Дома она какая-то утомленная, а так подвижная, болтушка, но дома сникает и утихомиривается, словно вернулась со спектакля, в котором ей по роли пришлось быть на сцене во всех актах. Левон подождал, чтобы она заговорила. Мы умеем ждать, чтобы человек кончил говорить, и не ведаем, что дожидаться конца молчания часто важнее.

– Значит, из-за любви? – заговорила Лилит. – Значит, человечество еще имеет – право существовать, раз двое могут умереть из-за любви. Сколько им было?

– Лет по семнадцать.

– Да-а!.. Что еще нового, который час?

– Одиннадцать.

– Очень поздно, я уже разделась.

– Тем лучше, – попытался сострить он.

– Поздно. – Она помолчала. – Говоришь, лет по семнадцать? – Снова молчание. – Хочешь, завтра?

– Но ведь совсем не поздно.

– Я устала, мне еще надо накопить прибавочную стоимость. – Она работала машинисткой и иногда брала работу на дом. – Не сердись, ладно?

– Что печатаешь?

– Стихи, по-двадцать копеек за страницу. Знала бы, какие они серые, все тридцать требовала бы.

Посмеялась.

– Спокойной ночи, – сказала Лилит, – когда встретимся, ты мне расскажешь о них.

Комната Лилит маленькая и теплая, одновременно и спальня, и приемная, и

будуар, как в шутку называет она угол, в котором стоят трюмо, обремененное духами, всякой парфюмерией. Стоит там и старый диван. Сколько вообще одиноких уголков в мире, как у Лилит или у него? А я становлюсь сентиментальным, подумал он и включил магнитофон: двадцатый век делает все, чтобы человек не осознавал своего одиночества. Улыбнулся: пел слепой ашуг, которого он два года назад записал в поезде. Шум поезда мгновенно заполнил комнату. Лилит сейчас печатает глупые стихи. За слепым ашугом идет Эдит Пиаф, ее опаленный, по-мужски хрипловатый голос повторялся несколько раз. Он прокрутил ленту обратно, еще раз послушал ее. Полистал заметки, сделанные в деревне, сел за машинку и стал печатать. Странно звучала машинка в тишине ночи. Лилит тоже сейчас стучит. А ребята не позвонили. Нет, ничего не получается. Он вышел на веранду, которую придумали, чтобы не открывать окон. Подышит – и обратно. Лилит бы сказала, что для многих мужчин она просто балкон, где можно свободно подышать воздухом. Трудной жизнью она живет. Все началось в восемнадцать лет, когда кто-то ради нескольких поцелуев поклялся, что любит ее. До этого глагол «любить» она склоняла лишь в грамматических упражнениях и читала в романах. Она поверила, вернее, не задумалась над этим, но вскоре поняла, что станет матерью. Этого она не захотела. Тем более что тот, кто клялся, куда-то исчез. С того и началось.

Зачем он вспомнил о Лилит? Что в ее истории нового и какая связь с Серобом и Асмик? Но разве стоило ради нескольких поцелуев клясться в любви? Нет, ничего не выходит. Лучше завалиться спать.

Он погасил свет.

10

– Степанян вызывает, – сказал редактор. – Расскажи ему. Только ничего лишнего.

Погос Степанян... Левон с неприятным чувством подумал о встрече с ним, лучше бы уж кто-нибудь незнакомый. В университете его называли Погосиком,

а теперь он Погос Кюрегич.

– Я еще ничего не написал, зачем мне к нему идти?

– Он звонил, оказывается, этот вопрос будут обсуждать, и он хочет узнать твое мнение. – И добавил: – В типографию зайдешь? – Что означало: виски будем пить?

– Приду, конечно.

Редактор просиял.

– Какой сегодня день? Пятница? В среду уезжаю.

– Куда?

– Далеко отсюда. – Он подошел к сейфу, что-то вынул. – Знаешь, что это такое, а? – Он показал синюю записную книжку.

Левон с недоумением пожал плечами...

Редактор стал перелистывать блокнотик. Левон редко видел его таким оживленным. В чем дело?

– Не догадался еще? Эх ты, Ремарк! Это номера телефонов и адреса, понял?

Он понял – номера телефонов знакомых женщин.

– В сейфе держишь?

– А как же? Нет, братец, на фронте я разведчиком был...

Вдруг вспомнилось, как мучился редактор по вечерам в поисках мацуна.

– А ключ от сейфа держишь в кармане? Опасно...

Редактор посерьезнел:

– Нет, правда?

– Не знаю, но был у меня товарищ...

Редактор помрачнел, сунул обратно в сейф книжку и замолчал, о чем-то думая.

– Пойду, – сказал Левон. – Я пошутил. Когда идти к Степаняну?

– Сейчас. – Редактор махнул рукой. – Э, да что ты понимаешь, свободный человек, сам себе голова... Не опоздай в типографию.

Позвонил Ашот и сказал, что через час состоится консилиум и, похоже, Ваграма придется оперировать, но пока это опасно, он потерял много крови.

Левон решил пойти в больницу. Он вспомнил записную книжку редактора Бедняга. А его жену, наверное, считают счастливицей: муж редактор, добывает мацун, ходит на рынок, просто клад. А жену Левона никто не сочтет счастливой, и на рынок он не пойдет, и детей в садик не отведет, а мацуна даже днем, когда все магазины полны, не достанет, и телефоны знакомых девушек запишет в общую телефонную книжку. Бедняжка будущая жена!

Погос Степанян поднялся навстречу, поздоровался, спросил, как дела, как поживают родные и не женился ли еще. Левон сказал, что все в порядке. Степанян улыбнулся доброй улыбкой, ну вот и отлично. Прелюдия окончилась. Он кашлянул, поправил галстук.

– Ну, рассказывай. Говорят, ты специалист по самоубийствам.

– А ты ничуть не изменился, – холодно произнес Левон.

– В каком смысле?

– В смысле остроумия.

Степанян отечески улыбнулся.

– Сильная была у тебя последняя статья.

– Что вас интересует?

– Да-а! – Степанян помолчал, но все же с удовольствием перешел на официальный тон – здесь он был сильнее Левона: – Мы собираемся обсудить это событие, вот почему я решил узнать твое мнение.

– Я ничего еще не написал.

– Писать? А удобно ли вообще писать?

– Это вопрос или указание?

– Вопрос.

– Тогда я скажу: необходимо.

– Да-а? – Степанян помрачнел. – Самоубийство... ты понимаешь, что это означает в наши дни? Стоит ли обнародовать подобный факт? Мы что, поощряем душевную слабость?

Левону вспомнился давний случай. Погос сидел как-то с девушкой на бульваре, подошли двое парней в масках, сказали, что хотят поцеловать девушку.

И Погос бежал, бросив девушку. На другой день в университете все узнали об этом, потому что «разбойниками» были однокурсники Погоса.

– Говорите, душевную слабость?

– Что же другое?

– Меня эта трагедия волнует совсем по другой причине.

– Обсудим, выясним обстоятельства, найдем виновных, потом подумаем.

Кстати, я получил письменную жалобу от директора школы. Редактору я не сказал, но...

– Не понимаю, зачем меня вызвали... Вы сказали, что интересуетесь моим мнением.

– Конечно.

Бедные, наивные дети, думаете, вы что-нибудь доказали миру? Наивные... Это был обычный, ну, может быть, не совсем обычный случай, происшедший в мае сего года, потом он превратился в вопрос повестки дня, его обсудят, поставят на вид директору, старшему пионервожатому, осудят (посмертно) душевную слабость членов ВЛКСМ Сероба Варданяна и Асмик Саруханян, разработают соответствующие мероприятия...

– Наверное, будет лучше, если я напишу.

– Но учти наши замечания. Сколько экземпляров вашей газеты идет за границу?

– Не интересовался.

– А надо бы. Одним словом, пиши, не думай, что мы ограничиваем тебя.

Пиши.

Могилы наивных детей в соседстве с атомной станцией! Нелепо, но это ничего. И при коммунизме, наверное, будут совершать самоубийства во имя любви. Когда-нибудь за это будут ставить памятники. Памятник Неизвестному влюбленному. И если Погос Степанян доживет до тех времен, он произнесет проникновенную речь и вас, может, вспомнит, приведет в пример. А теперь... Теперь ваша смерть просто свершившийся факт, его изучают, обсуждают...

Вошла секретарша.

– Завтракать будете? – спросила она.

– Да. Левон, тебе чаю или кофе?

– Кофе, – ответил Левон.

Степанян поднялся и пересел за низенький столик в углу. Кофе пили молча. Погос, как и в былые времена, втягивал питье очень шумно. Левон был доволен: за столиком Степанян больше походил на прежнего Погосика, прибавился только длинный мундштук.

– Ну, рассказывай.

– Я, кажется, все рассказал, остальное напишу.

– Не об этом я, – отмахнулся Степанян. – Кого из ребят видел, что подельываешь? Времени нет собраться. – Он посмотрел в окно, потом скользнул взглядом по книжному шкафу. – И читать некогда. Ты прости, я даже твою последнюю книгу не читал.

– Ничего не потерял. Бабель полагал, что человеку достаточно прочесть не больше шести книг за свою жизнь...

– Шесть – мало.

– Я еще не кончил, – сказал Левон. – Но для того, чтобы отобрать их, надо прочесть двадцать пять тысяч. Бабель пишет, что...

– А это много. Ты вот лучше скажи, чего не женишься?

– Не знаю. Говоришь, директор жалуется?

– Не придавай значения. Я куда-то его жалобу задевал. Печальная история.

– Печальная – не то слово.

– Рассказывай... – Съежившись в своем кресле, Степанян закрыл глаза, напоминая маленького мальчика на качелях, который жмурится от солнца. Дед его был сасунец, из семи братьев только он один спасся, добрался до Еревана. – Рассказывай.

Левон вдруг нашел нужные слова и начал обстоятельно, долго и горячо все излагать, словно читал по писаному. Он чувствовал себя в роли защитника Сероба и Асмик, хотя теперь им это было ни к чему. Степанян слушал внимательно, даже забыл про хлеб с маслом и выпил уже остывший чай.

– Значит, гроб с телом девушки ставили в церковь?

– Вначале, пока о ней судачили, не разрешали. А после врачебного освидетельствования поставили.

– Да-а!..

– На похоронах были только двое из их класса.

– Да-а?...

В раскрытое окно ворвался весенний ветер, наполнив комнату прохладой. Степанян открыл глаза и уже был не прежним маленьким мальчиком. Он о чем-то сосредоточенно размышлял. Левон глядел в окно, сожалел о рассказанном, чувствуя себя выжатым, как лимон.

– Значит, так. – Степанян встал, медленно и важно подошел к письменному столу, опустил в кресло и потер лоб. – На обсуждение придешь и будешь выступать.

– Когда оно состоится?

– Посмотрим, пока вопрос изучают. – Он протянул руку. – Захаживай. Привет ребятам.

На улице нещадно палило солнце.

Подняться к Ваграму не разрешили. Ашот сам спустился к нему.

– Во вторник или в среду, наверное, будут оперировать. Сердце вроде приходит в норму. Он только что о тебе спрашивал.

– Что говорил?

– Просто спросил. Мать сейчас у него. Левон посмотрел на Ашота как судья и палач.

– Слушай, ты мне голову не морочь. В чем дело?

– Спасение в операции, уверяю тебя,

Они с Татевик пошли в кафе.

– Как поживает Агабек?

– Прекрасно, – засмеялась Татевик. – Бармен приветствует тебя.

Завтра собираемся, интересно, кто явится. Он задумчиво смотрел сквозь стеклянную дверь кафе «Крунк». Ваграма оперируют. Анаит, не спрашивая, расставляла на столе закуски, поглядывая на Татевик. Здесь его знали и даже любили, потому хозяйка кафе, как называл ее Левон, завидев его еще издали, широко улыбнулась, подошла и под села к ним.

Левон представил Татевик.

– Что будете пить? – спросила Анаит.

– Говори ты, – предложил он Татевик.

– Принеси шампанского, – приказала Анаит хозяйка кафе. – Ты что-то не в духе, Левон-джан, ничего не случилось?

– Брат болен.

Выпили по бокалу, и хозяйка ушла.

– Ему плохо? – спросила Татевик.

– Не знаю. Оперировать будут.

– Дядя у меня профессор. Может...

– Нет, спасибо.

Грустит он не только из-за Ваграма. Очень измотался в последнее время, и одиночество давит на душу, а в голове будто трещит, как пишущая машинка, на которой отстукивают графоманские стихи. Татевик осторожно, медленно ест салат и чего-то ждет. Чего? Старее он, что ли? Тридцать три года – немало.

– Прости меня, Татевик.

Она не отвечает, улыбается, будто давняя знакомая.

Рядом сдвинули несколько столов, словно открыли птичий базар, щебечут девушки, ребята ухаживают за ними. Поют, шутят. Хорошо.

– Хочешь, уйдем? – спросила Татевик.

Левон молча взял ее за руку. Встретились глазами. Кто эта девушка, откуда вошла она в его жизнь, зачем хочет проникнуть в его внутренний мир, этот приусадебный участок каждого человека, цитадель его одиночества? Но Татевик ничего не хотела, она смотрела просто и ясно, как смотрят I на воду, на хлеб, на

тишину.

– Останемся еще немножко, – сказал он. Потанцуем.

Все танцевали твист, а они танго. За ними внимательно, с улыбкой следили хозяйка и Анаит. Думали, наверное, что скоро эта девушка отнимет у них постоянного клиента. Левон усмехнулся, потом поверх головы Татевик с улыбкой посмотрел на ее каштановые волосы, ощутил упругое тело. Чего он хочет от жизни, или, как выражается Ли-лит, от этого краткого отпуска перед возвращением в небытие? Он с какой-то завистью оглядывал танцующих, хотя и не был так наивен, чтобы судить о них по бесшабашному танцу. Но они, пожалуй, менее одиноки, чем он и все его поколение, им, наверно, смешон этот старомодный танец. И пускай. Когда было учиться танцам? В войну или после нее все пронизывала горечь, старые раны только смазывались йодом, а об излечении говорить было преждевременно. Самые счастливые воспоминания – студенческих лет – ассоциировались с собраниями и аплодисментами. Если сложить вместе потраченное на это время, получатся месяцы, а ведь эти дни тоже жизнь, прожитая 'жизнь, они уже вычеркнуты из твоей биографии. Поймут ли эти? Твист захватил их, они напоминали пестрые заводные игрушки. И у них, наверное, свои горести, бессонные ночи, дни, когда хочется спать, чтоб не думать, не понимать. Понимает ли он их? Тяжело считаться средним поколением, мостиком через тонкий ручеек, по которому проходят – одни лишь пенсионеры, а молодежь перепрыгивает ручеек, не замечая или пренебрегая мостом... Пусть падает снег, пусть покроет все и не тает, чтобы на этом снегу родилась жизнь, пусть снег покроет все непрожитые годы, заблуждения, падения, и, может, вернутся назад годы непрожитые... Твист разгорался, разноцветные игрушки перемешались, а Татевик молчала.

– Ты ничего не говоришь, Татевик.

– Говорю, но только про себя, как и ты.

Грохот вдруг прекратился, игрушки сразу остановились, потом расселись вокруг столов, став парнями и девушками.

– Идем, Татевик.

– Идем.

Снаружи «Крунк» казался громадным аквариумом, вместо воды был воздух, а вместо рыб – люди.

– Только на пять минут, – сказал дежурный врач.

Он взбежал по лестнице.

Первой почувствовала его появление мать. Ваграм как будто спал, но на шум приоткрыл глаза.

– Все будет хорошо, – сказал Левон, – сейчас я с Ашотом говорил, вероятно, придется оперировать. Что скажешь?

– Что сказать?... Если нужно...

Глаза у Ваграма были грустные, пустые и примирившиеся.

– Не думай ни о чем, все будет хорошо.

– Э... – Ваграм закрыл глаза, мать умоляюще посмотрела на Левона, а куда было смотреть ему? Ваграм, открыл глаза. – Что сказал профессор?

– То же самое, Ваграм, то же самое.

Неправда, главное в человеке – это зов крови, в решающие минуты кровь дает о себе знать. Еще неделю назад он считал, что можно обойтись без родных, ведь есть рестораны, друзья, девушки, книги, магнитофон, есть тишина. Неделю назад он мог думать, что кровное родство – нечто условное в безумном двадцатом веке, разделяющем людей, воздвигающем стены, занавесы, перегородки. За последние годы они с братом встречались так редко – только на Новый год... И что же, теперь он стоит, жалкий и беспомощный, лицом к лицу с природными инстинктами, с душой обнаженной, как тело Адама, и не знает, что делать. Ну, помоги же, двадцатый век, притупи нервы, придумай пилюли радости, чтобы глотать их, когда боль становится невыносимой. Бледная, почти женственная рука Ваграма, подобно бумаге, лежала на стареньком одеяле. Так стареют люди, подумал Левон. Мать смотрела на сына, который был для нее всем на свете. Куда она еще могла смотреть в эту минуту?

– Как он? – спросила Татевик.

– Останься со мной, – сказал Левон.

На улице – шумела жизнь, люди. Они смешались с толпой, и улица поглотила их, словно хлеб, мороженое или папиросный дым.

12

Прошлое схоже со старой мельницей, есть вода и жернова, а за годы изрядно накопилось зерна. Достаточно простой встречи, скрещения знакомых <...>¹закрутятся жернова, зерно перемелется в муку, жизнь заполнится шумом прошедших дней.

Позади была школа, старая мельница, они сидели на разбросанных во дворе камнях, были чуть печальны, чуть радостны, какими и хотели казаться.

<...> Хоть бы позвонили, – сказал Левон

– <...> ть минут, – предложил Рубен.

Из семнадцати остались только пятеро. Двое не могли прийти – <...> значит, пятеро из пятнадцати. Белая машина Рубена стояла у тротуара, и водитель тряпкой протирал переднее стекло. Каро женился месяц назад и первым пал жертвой <...>

– Ну, Каро, как жена?

– Э... – вздохнул Каро, – заставляет чистить зубы.

– Брюки тоже вроде выглажены.

– И шнурки на ботинках завязаны.

– Каро, уже двадцать лет все хочу спросить, – серьезно говорит Левон, – как ты в школе вечно умудрялся ходить в грязных брюках и ботинках?

– Однажды... – начинает Артак, и крутятся жернова, в воздухе поднимается мелкая пыль воспоминаний.

Карлен повышает голос: он привык, он директор завода.

– Да что это такое? – Он смотрит на часы. – Можно ли ждать иного, если за

организацию взялся Левон...

– Взятся бы сам, товарищ директор.

– А кто руководить будет? Вот загнусь – осиротеете. Берегите меня, братцы.

– Всё, больше не ждем никого! – объявляет Рубен. – Решайте, куда пойдём.

– К Акопу. Втискиваются в машину.

– Каро, тебя надолго отпустили?

– Спой, Рубен, а?

Рубен показывает жестом на своего водителя, выразительно пожимает плечами и улыбается.

– Не время. – Потом вдруг совсем серьезно добавил: – А знаете, ребята, мы ничуть не изменились!

Остальные тоже посерьезнели, каждый задумался о своем.

Вот и кладбище.

Они сошли. Кто-то купил цветов. Помолчали, но недолго.

– Акоп – первый из нашего класса, что поспешил отправиться на тот свет, – говорит Каро.

– Вторым будешь ты. За Рубена, как за руководящего товарища, походатайствуют сверху, и он не скоро умрет, а когда умрет, похоронят его в Пантеоне.

– И на меня тоже не рассчитывайте. – произносит Карлен, – меня выдвигают. Левон станет великим писателем. Из одного класса пара кандидатов в Пантеон, неплохо, а?

– Одни мы с тобой в простых могилах, – говорит Каро Артаку.

– А могильщиком кто будет? – смеется кто-то.

– Могильщика пригласим из кинофильма «Гамлет».

Кругом надгробья, ограды, имена мертвых, есть и знакомые имена <...> были номера телефонов, адреса <...>. Сейчас это просто камни, <...> проверять, они ли лежат под могильными камнями, или...

– Памятники здесь другие, чем в городе, – замечает Рубен.

– И стены прочнее <...>

– Представьте, чер... <...>...ет из нынешних семисот тысяч населения одного города никого не останется в живых. Знаешь – семьсот тысяч могил. Поставьте на минуту в рост эту цементно-базальтовую массу... Бр-р, страшно! Сколько земли даром пропадает!

– Прекратите, – сказал Левон, – нашли тему.

– Не вынесла душа поэта! – патетически произнес Каро.

Акоп умер восемь лет назад. Инфаркт. Кто бы подумал? Тихий был, добрый малый, краснел, если слышал брань. Его Медом прозвали. Учителя всегда ставили в пример остальным. Никто не понял, что с ним произошло после школы, но он стал совершенно другим человеком: стал пить, сквернословить, дебоширить дома, уехал куда-то, потом вернулся, перебрался в какую-то деревню, совсем ужаснулся, и вот однажды... За месяц до своей смерти он встретился с Каро. Акоп напился, пустил слезу. Похоронили его на скорую руку, кое-как.

– Богатый памятник и со вкусом, – сказал Рубек, показывая на соседнее надгробье.

– Завтра футбол, поедем? – спросил Артак. На могиле Акопа только металлическая плита,

изъеденная ржавчиной, буквы прочитываются с трудом: «Меграбян Акоп Саркисович, 1930–1959». Левон положил цветы, они казались сиротливыми на этой простой могиле.

– Скинемся ему на камень, – предложил Рубен.

– И в прошлый раз решали, – сказал Левон, – пять лет назад.

Они переглянулись друг с другом, вернее, всмотрелась в себя, как смотрят в колодец, в темноту, потом все снова уставились на могилу Акопа и словно повзрослели...

– Нет, что-то надо делать, стыдно, – сказал Карлен.

Левон подумал, что ничего они не сделают, разойдутся по домам и забудут. Сели кто где, воцарилось молчание.

– Что носы повесили? – сказал Каро. – Если доведется ко мне на могилу

прийти, чур, рассказывайте анекдоты, разрешаю заранее.

– Анекдот Агабека, – ввернул Карлен. Это был любимый анекдот Каро, они слышали его раз сто.

Левон вспомнил директора школы, где работала Татевик, и усмехнулся.

– Серьезно, ребята, неудобно, что-то надо сделать! Поставим хоть простой камень, – сказал Рубен. – Левон, займешься?

– Левон соберет деньги и пропьет, – засмеялся Карлен.

– Потом нарочно умрет, чтоб не возвращать, – сказал Каро.

Наконец они ушли. Акоп остался, он будет здесь ждать, ему некуда идти. Со временем все ребята по очереди соберутся здесь, может, старость преобразит их, но ничего, он узнает их. Соберутся всем классом, и впервые будет тишина. Левон сморщился от видения этой неизбежной картины. Каро что-то рассказывал, все смеялись. Когда они успели повзрослеть? Рубен уже начал полнеть, Артак и Каро поседели, Карлен все еще подтянут, но в лице, в глазах усталость и забота.

Давно ли на переменах и после уроков они играли в пуговицы, заменявшие им мелочь, – дома не оставалось пуговиц, брюки закалывались булавками. Давно ли они ходили на рынок и смотрели в волшебный ящик с отверстиями по обе стороны... Чудеса в ящике показывал за пятак мужчина и при этом давал объяснения: «Первый – Лондон, столица Англии. Второй – Багдад, родина хурмы». И наконец: «Танцуют прекрасные девушки Греции! Это смотрите задаром». Их привлекали не девушки Греции, а хурма. Позже Левон побывал во многих странах, в той же Англии, Греции, но самым прекрасным было детское путешествие. Рубен с Карденом шли и о чем-то спорили, Каро и Артак смеялись какому-то очередному анекдоту. Когда они выросли и кто им вернет непрожитые годы детства?

У выхода с кладбища выпили воды из фонтанчика.

– Пока, Акоп.

– Умираю от голода, – сказал Каро. – Жена сказала: «Двадцать рублей забираешь, еще и обед попросишь?»

– Поесть бы где-нибудь, – сказал Артак.

– Едемте на Севан, в «Ахтамар».

Они набились в машину.

– Руб, спой ту песню, помнишь? Очень прошу.

– Сейчас лучше анекдоты, а песни – на Севане.

Все заговорили наперебой, точно стараясь отогнать грустные мысли, навеянные кладбищем.

– Навестим Вагика, – предложил Каро.

Вагик был в психиатрической больнице на Севане.

– Говорят, он вылечился и работает там завхозом.

Что случилось с парнем? Он единственный не голодал в военные годы, отец его был бухгалтером в воинской столовой, мать поварихой. Он носил пальто и коверкотовый костюм, был розовощекий. Как это произошло? Как они, полуголодные и полуголые, смогли выдержать в те трудные годы, а Вагик нет?... Сколько они измывались над ним, обливали одежду чернилами, таскали у него завтраки, тетради!

– А помните, как мы наелись у Вагика?

Еще бы не помнить! Их было двенадцать ребят. Съели все подчистую, что было в доме. Потом с неделю у всех болели животы, а Артака даже забрали в инфекционную больницу. Ужас, что только не вытворяли.

...И сегодня Вагик в психиатрической...

После дождя асфальт был мокрый.

Ребята все разом бурчали под нос какую-то мелодию.

– Левон, – сказал Рубен, – ты написал?

– Что?

– О наших самоубийцах.

– Ого, у вас есть и самоубийцы? – пошутил Каро. – Неплохо же ты руководишь районом.

– Молчи, – оборвал его Рубен, – не твоего ума дело.

– А то смотри, позвоним жене, – добавил Артак и спросил у Левона: – Что

за самоубийцы?

– Прекратите! – оборвал их Карлен – Не на траурный же митинг мы собрались: сначала кладбище, потом самоубийство. Может, пойдём теперь в анатомикум на обед?

– Нет, ещё не написал, – ответил Левон Рубену, – но напишу.

– Да-а, – протянул тот, – такая, брат, история. А я в той деревне ни разу не бывал раньше, представляешь?

– Сколько лет ты в этом районе?

. – В ноябре будет год.

– Удивительно.

– Значит, напишешь?

– Тебе бы не хотелось, да?

– Нет, что ты, не в том дело.

Ребята загалдели:

– Хватит!

– Сегодня ни о чём серьёзном!

– В самом деле, надоело, всюду одно и то же – на собрании, на свадьбе, на похоронах, – хватит!

– Итак, решено, – заключил Карлен, – ни слова о политике, о работе...

– ...и о трагедиях нашей истории, – дополнил Левон.

– И о женщинах, – сказал Каро, – точнее, о наших женах...

– В самом деле, устали, – сказал Рубен, – повеселимся. Ведь мы так редко бываем самими собой, а?

Левон незаметно оглядел товарищей. Старшему, Рубену, всего тридцать семь. И он устал? Все устали? Отчего устали, когда успели устать? Каро что-то запел, как всегда, фальшиво. Карлен закурил, а Рубен вдруг затыкнул;

Платком взмахнула у ворот

Моя любимая...

Рубен на три года старше, в девятом классе он дружил с девочкой из

соседней школы; ему нравилось «просвещать» своих друзей, учить, как следует подойти к девушке, о чем говорить. В те годы занимались раздельно, мальчики совсем одичали, им не хватало смягчающего влияния девочек. Вот об этом <...> Рубен словно рассказывал им своей песней <...> – он закрыл глаза, песня увела его назад на девятнадцать – двадцать лет, голос Рубена теперь не тот что раньше, с хрипотцой, и он позабыл слова – сам их теперь сочинил. Ведь сколько прошло лет! Школа осталась без девочек, здание перегородили деревянной перегородкой, это было в шестом классе, девочки плакали, мальчики мрачно выстроились под стеной. И с тех пор учились раздельно. Перегородку приходилось часто ремонтировать, потому что ребята отбивали штукатурку и в перемены смотрели сквозь щель в коридор девочек. В старших классах сквозь эти узкие щели передавались записки, смешные и грустные, назначались свидания.

Рубен пел одну песню за другой, как будто для себя.

Первый бокал выпили молча, поминая Акопа.

– Значит, договорились, о серьезном – ни-ни, – сказал Карлен. – Ясно?

Они с трудом отыскивали свободный столик в большом зале «Ахтамара», народу было полно, в основном молодежь, а внизу за окном голубел Севан.

После пяти рюмок Левон посмотрит на Севан и разочарованно махнет рукой:

– Фальшиво.

– Что?

– Севан. Слово картина Башинджагяна.

А пока все молчали, сосредоточенно ели, сжевывали невысказанные слова. Вот встретились, теперь выпьют, пошутят друг над другом, вспомнят тысячу разных мелочей, вместе проведут вечер. Кто знает, доведется ли встретиться еще раз, а если да, то ведь всего на несколько часов. Опять раскроют форточки своих душ и тут же быстро захлопнут – надолго нельзя, опасно.

– Расскажите что-нибудь, – предложил Каро.

Музыка гремела, как начинающий оратор, а пары словно вступили в

безоружный поединок, они сближались, удалялись, находили друг друга. На лицах маски, взятые напрокат на вечер или на всю жизнь, руки и ноги слабо прикреплены к туловищу. Нет, Левон выдумывал, это обыкновенные ребята, а ритм твиста гармонирует с ритмом их кровообращения. Лица... Когда это они являли собой открытую азбуку, по которой можно было читать душу: а, б, в, г, д, е?... Лицо – всегда случайный дар. Левону вдруг стало тошно от этих мыслей. Рубен поднялся, пошел к соседнему столу, – наверное, пригласить на танец одиноко сидящую девушку. Та вначале удивилась, но Рубен наклонился, что-то сказал, она рассмеялась и встала. Когда они с девушкой оказались у их столика, Рубен незаметно подмигнул им.

– Видали? – спросил Каро.

– А девушка с веснушками, – заметил Артак.

– Сами не плошайте, – сказал Карлен. – Что думаешь ты, надежда нации?

– Стареем, – ответил Левон.

Артак вздохнул, потому что его длинные-предлинные ноги негодились для танцев и никогда не пригодятся. Он посмотрел <...> и сказал:

– Что они находят в танцах?

– Не знаю, – ответил Каро.

Среди юных пар упрямо топтались двое, ему было лет шестьдесят, ей за пятьдесят. Они танцевали танго, глядя друг на друга со счастливым выражением лица, им вдруг взбрело в голову изменить ритм, но ничего из этого не получалось, только мешали другим. Они выглядели смешно, на мужчине были широкие, старомодные брюки, женщина то и дело смотрела себе под ноги, – наверное, боялась ошибиться. Было грустно. Левон выпил одну за другой три рюмки водки, потом встал, поискал глазами свободную девушку, как ищут свободный стул. Нашел. Она стояла у стены, в ожидании подружки. Нет, Татевик здесь ни при чем. Он подошел, пригласил. Они смешались с толпой, и он отвлекся от назойливых мыслей и вопросов. В твисте есть что-то буйное, он сводит с ума, заставляет забыть уравнения жизни с тысячью неизвестными, превращает вас в бездумное создание, которое проделывает телодвижения,

живет только телом... Нет, твист вовсе не отключает от восприятия мира. Левону бросилась в глаза пожилая пара, он, танцуя, приблизился к ним, стараясь уловить что-нибудь из их разговора, как ловят теннисный мяч. В зале были шум и толчея, у женщины удивительно прозрачное лицо, словно с почтовых открыток тридцатых годов. Она улыбается, глядя себе под ноги. Мужчина, подтянутый, точно в строю, сдерживаемый своей формой, погонами, приказами. Но все равно смотрел он несколько робко и беспомощно, особенно в минуты, когда их случайно толкали молодые.

– Меня зовут Левон, – представился Левон, но взглядом продолжал следить за пожилой парой, – тридцать три года, не женат...

Девушка улыбнулась.

– А я Маринэ. Сказать, сколько мне лет?

– Можете. Пока еще можете.

Пожилая пара напоминала щепку, брошенную в бурное море. Их было чуточку жалко: зачем они здесь топчутся, шли бы домой смотреть телевизор, пили бы с соседями чай с вареньем, уложили бы спать внуков, баюкая их сказками. Наверное, получают пенсию и читают четвертую страницу газеты с траурными объявлениями – возраст такой. Молодая пара снова толкнула их, мужчина жалко посмотрел и что-то сказал.

– И сколько же вам лет, Маринэ?

– Двадцать один.

– Видите их? – Он кивнул в сторону пожилой пары.

– Жалко, – сказала она, – зачем они танцуют?

Молодой человек что-то сказал мужчине, женщина вдруг оставила его руку и быстро ушла к столику, а оркестр уже замолчал. Левон очутился между женщиной и парнем, а Маринэ тащила его за рукав.

– Что ты сказал ему?

– А ты кто такой? – Парень смотрел на Левона, как на рыбку в аквариуме. – Сын ему или внук?

– Не надо, – произнес мужчина, – не надо, ребята.

– Внук, – ядовито сказал Левон.

– Ого! – Парень усмехнулся.

Издали махали рукой ребята, он увидел Рубена, они сидели за столом. Левон заметил, что площадка для танцев пуста и только они остались в центре этого безлюдья. Мужчина стоял потерянно, как хачкар или глухонемой.

– Повтори, что сказал!

– Не кричи. – Парень смотрел очень спокойно, как будто рассматривал билет в кино, устанавливая номер места и ряд, или как на прошлогоднюю афишу. – Ты, я вижу, любопытный, дядя. Анекдот я рассказал твоему деду. Слышал небось, это в котором один говорит: «Мы в сорок первом мешали вам воевать? Вот и вы теперь не мешайте нам». Знаешь, нет?

Мужчина оставался недвижим. Левон внезапно подумал, что он, может, сражался в Керчи, видел сотни тысяч трупов, наваленных друг на друга, как мешки с песком, от которых поднялась вода в проливе, затопила берег, и мужчина смотрел на все это обезумевшим взором. Почему, почему представилось именно это? А парень смотрел равнодушно.

– Тебе еще чего-нибудь надо?

– Надо, – спокойно ответил Левон и ударил его по лицу наотмашь.

Пока парень поднимался с пола, собираясь ответить тем же, подоспели ребята. Все.

– Ты в своем уме? – сказал Рубен. – Люди смотрят на нас.

– Нечего было его нацеплять. – Левон имел в виду депутатский значок Рубена. – Не на сессию собрался.

.....

– Прости, – сказал Левон, – а я собой доволен. Наверное, лучше этого я еще поступка не совершал. – Они направились к своему столу. – Прости...

Рубен смотрел рассеянно и неудивленно.

– Что он сказал тебе?

– Не мне, им.

Рубен, услышав историю, посмотрел на него с недоумением, задумчиво.

– Твое здоровье, – сказал он, наполнив рюмки.

Горечь, как после хинина, который глотаешь без воды. Решили повеселиться, не говорить о серьезном – и вот... Но разве они животные, чтобы только пить и жевать? Неужели разница в том, что те едят траву, а они форель или рокфор? Очень может быть, что и скотина на своем языке обменивается мыслями о траве или комбикорме.

Подошли Артак, Каро, Карлен.

Пожилой мужчина.

Парень, смотревший растерянно и с подозрением.

Что он так запсиховал? Может, не стоило, а?... Нет, кровь священна куда более, чем развалины монастырей или письма на пергаменте. Глумиться над пролитой кровью? Нет. Долгие месяцы вода в Керченском проливе была красного цвета. Сколько молодых жизней погибло в море, исчезло бесследно? Те не успели научиться танцевать и уже не научатся. И вот этот, один из них, случайно уцелел, теперь он не находит своего места в жизни, растерянно хлопает глазами. Вода в Керченском проливе несколько месяцев была кровавого цвета, может, и это смешно?

Они расселись за столом.

– Спасибо, – наконец выдал из себя мужчина, значит, он не был глухонемым. – Но зачем вы...

– Выпейте, – предложил Рубен.

– А ты иди, – сказал Левон парню. – Мы заняты. Если у тебя есть претензии ко мне, запиши номер телефона.

– Знаю, мне сказали, кто вы, я читал вашу книгу.

– Даже так? – Левон вспомнил Асмик и Серова, их могилы. – Больше не читай. Тебе пора идти.

Тот встал.

– За Левона, – предложил Карлен. – Я всегда думал... – Парень все еще стоял возле стола. – Тебя ждет девушка, ступай. – Парень молча удалился. – Я всегда думал... За тебя, Левон.

– Где вас ранило? – спросил Левон.

– Под Гомелем, в Белоруссии, – ответил мужчина. – Как вы догадались, что я был ранен?

– Не знаю.

Не знаю, не знаю, в самом деле, с кем мы – со старыми или с молодыми? Или мы просто мосты над обмелевшей речкой, связка, когда уже нет связующих слов, когда следующее слово или предложение начинается с новой строки? Удобрение под будущий урожай?... Но неужели новое – этот паршивец, читавший его книги? Не будет он писать для таких, как этот. Чепуха. А Сероб и Асмик?... Глупости!

– Выпьем, – Рубен вдруг обнял Левона и поцеловал, – за нашу грусть.

– Грусть, от которой хотят избавиться, но как? Ведь это не официант, что может являться и уходить по первой просьбе. Как избавиться от самих себя?

А пары продолжали танцевать, и Севан был какой-то выдуманный, теперь уже словно написанные художником-примитивистом. От этого сравнения Левон оживился и решил, что, услышав его, Артак обрадуется. Раненный под Гомелем мужчина ушел. Есть святыни, – например, пролитая за Родину кровь, прожитые вместе годы, минуты молчания, пирожок с мясом, разделенный на пятерых в трудные дни. Есть святыни. Наверное, зря он погорячился, может, этот щенок и неплохой парень. Может, именно его отец остался в Керчи, а дед – у стен Карса, и прадед похоронен на кладбище в Старой Джуге, которое вскоре станет дном водохранилища. А может, отец его жив-здоров, играет сейчас в нарды с соседом, дед получает пенсию республиканского значения за защиту Заманлинского моста от дашнаков. Может, он в самом деле не дрянь, этот парень, просто распетушился, решил пошутить, а как это делать, чтоб себе потом в душу не наплевать, пока не знает. Что меняется от этого – мир, могилы Асмик и Сероба, цвет воды в Керченском проливе?

– Здорово ты ему врезал, – сказал Каро. – А я-то думал, что правой рукой ты только ручку умеешь держать.

– И еще руку молодой девицы, – добавил Артак.

– Может, повторишь? Чем плоха рожа? – Карлен показал на Каро. – Сытый, новобрачный, с вычищенными зубами.

Нет, Севан не был фальшивым.

В темноте воды его были темны и неподвижны, а на полуострове вдали светили монастыри, как свечи.

– Хорошо осветили, – сказал Карлен.

Выпили молча.

Молчали.

Лучшие драмы в мире не будут написаны только потому, что артисты на сцене не могут долго молчать.

А люди в жизни могут.

13

– Прочитал я, – сказал редактор. – Что ты хочешь, чтобы газету закрыли?

– Хочу. – Лево́й серьезно и спокойно посмотрел на сидящего перед ним редактора.

– Я не шучу.

– Я тоже.

– Вечером на бюро обсуждение. Если хочешь, чтобы напечатали, придется многое изменить.

– Когда едешь?

– Э... – редактор глубоко вздохнул. – Степанян говорит: «Поедешь после бюро». Сейчас был, бы далеко. – Он помолчал, посмотрел в окно, взгляд его словно проник в какие-то дали, и он что-то понял. – Вряд ли отпустит. Не знаю.

– Говоришь, надо менять?

– Да пойми же ты наконец, Левон, милый. – Он вдруг весь подобрался. – Я прочел твою статью Арме, представь, она расплакалась, с сердцем стало плохо. Она соседям рассказала и управдому.

В Левоне вновь проснулась злость, вдруг стала невыносимой эта комната,

эта сладкая беседа с подковырками и недомолвками, но он сдержался, только сказал:

– А мнения своей маникюрши она не спросила?

– Все шутишь? – Редактор слегка поморщился, словно вместо минеральной воды хлебнул водки, потом быстро опомнился, вытер рот, погасил в себе какой-то трепет, нашел нужную маску. – Тебе бы не у нас работать, а в «Возни»,²товарищ Акоп Паронян.³

– Не примут меня туда.

– Почему? – по-детски удивился редактор. Маска на миг сползла с его лица, и оно снова сделалось беспокойным. – Почему же?

– «Возни» – серьезный журнал, читаешь, и хочется плакать. А Паронян писал веселые вещи.

Редактор рассмеялся.

– Ну, я пошел, вечером увидимся, – сказал Левон.

– Как знаешь. – Редактор с тоской взмолился: – Вечером не болтай лишнего, не надо, и без того Степанян...

Левон вдруг обернулся:

– Знаешь, где бы ты был на своем месте?

– Где?

– В должности заведующего складом взрывчатых веществ. Там бы оценили твою осторожность. Пока.

Кажется, дверь кабинета была одного цвета с несгораемым шкафом, тяжело обосновавшимся в углу. В громадном этом шкафу редактор хранил круглую печать да еще записную книжку... с телефонами знакомых женщин.

– В хребца играешь? – сердито пробурчал редактор.

– Играть еще не научился.

– Научишься...

– А что ж... С таким режиссером, как ты... Да и грима сколько хочешь.

Несгораемый шкаф был металлический и холодный, а дверь кабинета мягкая, со слоем ваты под дерматином. Сейчас применяют пенопласт, – и дешевле, и клопы в нем не заводятся.

– Я пошел, – сказал Левон уже в который раз и понял, что ему не хочется уходить, а хочется посидеть на мягком стуле и поболтать с этим человеком, к которому он не испытывает ненависти, с которым совсем не хочет спорить и что-то ему доказывать.

Левон устал. Но тут он вспомнил, что через час-полтора будут оперировать Ваграма. Внутри у него натянулась какая-то струна, все остальные вопросы отошли далеко, стали разноцветными воздушными шарами, взлетели в воздух и исчезли.

В больничном дворе ожидали мать, жена брата и мужчина в очках, Арам (заместитель брата, он как-то видел его у Ваграма).

Мать молча посмотрела на Левона.

Под слепящим солнцем она походила на эбонитовую статую черной старой орлицы, сидящей на электрическом проводе, ей нипочем ток, проходящий по проводам, она молча сидит и чего-то ждет.

– Ну что, говорил с ним'

– Другого выхода нет, мама.

– Повидал его?

– Профессора? Еще вчера.

– Он уже пришел, ступай еще раз поговори, посмотри, что можно сделать.

Он поднимался долго по стершимся ступеням. Сторож больницы знал его, Левон всегда здоровался с ним за руку, всовывая ему при этом смятую рублевку. Сторож успел рассказать, что у него четверо детей (три взрослые девочки). Ступени лестницы напоминали старые монастырские плиты. Левон вспомнил, как, возвращаясь в час ночи с Севана, они пошли в сквер и долго искали свободную скамейку. В саду было темно, громкоговоритель не орал, в аллеях забыли выставить щиты с изображением деревьев; впрочем, весна только начиналась, все будет – и громкоговорители, и фонарь над каждой скамейкой.

«Стареем», – уже в сотый раз заметил Рубен. На одной из скамеек парочка словно бы воплощала скульптур «Поцелуй» на шумевшего маэстро. «Над нами смеются, – сказал Карлен, – услышав, как те тихо засмеялись. – И чего нас сюда понесло?» Раньше в городе приличного сквера не было, и единственным пристанищем для влюбленных служили стены недостроенных домов. «Ничего мне не надо, только бы еще раз прийти сюда, как эти», – сказал Артак. «У нас так уже не получится, – философски заметил Рубен, – мы бы кинулись искать хату с диваном. Стареем...» И он что-то замурлыкал, себе под нос. «Сколько в центре зря пропадает земли под парками, – сказал Карлен, – кому это нужно? А заводы строят бог знает в какой глухомани». – «Ерунду говоришь, – сказал Рубен, – просто мы стареем».

– ...Есть надежда, профессор?

– Поздно обратились. Но попробуем.

Профессор уперся локтями в толстое стекло письменного стола, прямые и длинные пальцы не дрожали, они были абсолютно неподвижны, и это почему-то вселяло надежду.

– ...Три дня непрерывно внутреннее кровотечение. Сложно.

Вспомнил лицо Ваграма при известии об операции. «Как по-твоему, согласиться?... Детей, Асмик на тебя оставляю». Левон попытался обратить в шутку: «А денег в банке нет?» – «Долги есть», – и брат с печалью уставился в потолок.

– А может, не оперировать, профессор? Ведь если так много крови потерял... выдержит ли?

– Операция – единственный выход.

– Значит, единственный...

– Убежден, что надо попытаться.

...В сквере они просидели долго, и лишь молодожен Каро заторопился. Они отпустили его, спросив: «Какой месяц в году самый лучший, Каро?» – «Медовый», – не оплошал Каро. «Было бы нам по двадцать лет...» – вздохнул Левон. «Лошади в двадцать лет уже старые, для них двадцать лет – конец всего».

«По двадцать лет, и чтобы они не кончались, или, скажем, семнадцать... Впрочем, какая разница? Разница сказывается позже». Левон не произнес этих слов вслух, боялся, что Карлен высмеет. Пары постепенно расходились, слитые воедино или рука об руку. А Асмик и Сероб только раз поцеловались и за это заплатились жизнью. Дорогая цена...

– ...Профессор, у брата жизнь сложилась тяжелая. С восемнадцати лет...

– Понимаю вас. Поверьте, мы сделаем все. Дай бог...

Бог.

«Свет, света творец...» – прозвучал в ушах таракан Нерсеса Шнорали.⁴ Потом прогремел бас редактора, смирившегося со всем. Уйдя из сквера, они с Рубеном нагрянули к Лилит пить кофе, а вечером ожидалось «обсуждение» вопроса Сероба и Асмик. Люди придумали машины, читающие книги. А если выдумать машины, читающие мысли, переживания? Когда-нибудь будет и это, и тогда... погибнет человечество...

Мать сидела все в той же позе, полуприкрыв глаза, губы беззвучно шевелились. Молится, наверное. «Свет, света творец, наши души в свете зари осияй...»

– Ну что?

Значит, глаза ее не закрыты.

– Самый известный профессор, оперирует министров, творит чудеса. – Он вспомнил длинные, сильные пальцы профессора и сказал уверенно: – все будет хорошо, мам...

– Дай бог.

В окне третьего этажа появился Ашот. Значит, началось.

Молчание, длящееся три часа. Когда не знаешь, что делать, когда все слова кажутся ненужными, когда время движется медленно или совсем не движется...

В дверях возник Ашот.

– Закончили. Все прошло благополучно.

Левон вдруг вспомнил, что с утра не ел, даже кофе не пил и что до начала бюро можно успеть перехватить бутерброд.

– Значит, благополучно? – Он с недоверием покосился на Ашота.

– Сигареты есть? – спросил Ашот.

– Есть, только без фильтра.

Они помолчали.

– Операция удалась блестяще. Ты не ребенок, и не стану тебя обманывать. Посмотрим, выдержит ли сердце. Уж очень много он крови потерял.

– Кардиограмму сделали? – спросил Левон и смутился, поняв наивность вопроса.

– Сделают, но не сразу. Чуть позже...

Дождя уже не было.

Долгожданное весеннее солнце, обнаженное и кокетливое, сияло, «как натурщица перед молодым художником. „Свет, света творец...“

– Ну, я поднимусь наверх, а вы идите домой, отдохните, – сказал Ашот. – Часов в девять-десять можете снова прийти. Очнется после наркоза, тогда увидим.

Мать заявила, что никуда не уйдет...

Расставаясь поздно ночью, Рубен сказал: «Грустно было. Лучше не встречаться».

И ушел, покачиваясь, в желтом безлюдье улицы, а Левон вернулся к Лилит.

Левону чудилось, что вместо головы у него на плечах пишущая машинка, которая стучит, словно дождь по крыше, раздражающе и монотонно. На улице вечер, разноцветье огней, нарядно одетые люди, весна. Он в легком плаще, случайный взгляд отметил бы на его лице смесь озабоченности, улыбки и равнодушия.

Машинка стучала.

Писались страницы, которые не должны были писаться или читаться кем-нибудь, писались они в сердце, в голове, в молчании Левона.

«...Я видел их могилы, говорил с товарищами, учителями, родителями. А теперь „обсуждается“ их вопрос. За длинным, прекрасно отполированным столом сидят молодые люди, они очень хотят выглядеть серьезными. Степанян кивает мне. У стены сидят на стульях директор сельской школы, Бено Папикян (он сразу меня заметил и улыбнулся), юная девушка в школьной форме, с распущенными волосами, из класса Сероба, и другие – все знакомые. Степанян объявляет повестку дня и предоставляет слово Нвард Мамян. „Рассказывайте, товарищ Мамян, как все было“, – говорит он. Я удивляюсь: что может рассказать Нвард, ведь она в деревне не была, но помнится, когда я в двух словах рассказал ей эту историю, гла» а ее наполнились слезами. Нвард, я знаю, сентиментальна, недавно ее выбрали секретарем. Это хорошо, что доклад поручили именно ей...»

– Закурить не найдется? – спросили у него.

– Пожалуйста, – Левон протянул пачку сигарет.

– И спички тоже.

У улицы свои законы, она не считается с твоими мыслями, настроением.

Казалось, лицо юноши жарится в желтом спичечном костре, глаза осоловелые, – видно, под хмельком. Левон позавидовал ему.

– Благодарю. – И парень ушел, петляя. Вот и телефон-автомат.

– Ашот?

– Как будто все в порядке...

– Прийти?

– Не сейчас. Через пару ча. сов.

Устал ужасно.

– Будь дома, я позвоню. Сегодня дежурю.

«...Нвард говорила долго. Я чувствовал себя как малыш в цирке. Получалось так, что Сероб и Асмик – пример слабоволия, что молодогвардейцы краснели бы за них, что они находились под влиянием плохих заграничных

фильмов (бедные дети!). Я безуспешно пытался поймать взгляд Нвард – она смотрела в пространство. Те же глаза два дня назад в коридоре плакали, и она говорила: „Ты представляешь, Левон, какая была сила в этих ребятах, сколько чистоты? Завидую им. Давай съездим как-нибудь к ним в деревню, отнесем гвоздики“. Как мне быть – прервать, напомнить ее слова? Потом выяснилось, что самоубийство – следствие плохой политико-воспитательной работы в школе, где не проводят докладов на моральные темы.

«Я поддерживаю меры, которые приняла дирекция, – ребятам не следовало участвовать в похоронах. Простите, но смерть юноши и девушки, на мой взгляд, чем-то похожа на измену, а изменников не хоронят с почетом. Нас этому не учили. Это мое личное мнение». Она села, глядя в пространство. Степанян кивнул и изобразил подобие горькой улыбки на лице. «Может, послушаем еще и директора, потом...»

Я все пытался поймать взгляд Нвард, а директор уже заговорил. Ничего нового он не сказал, а под конец коснулся меня: «Конечно, и товарищ Шагинян, не спорю, иной раз пишет хорошие вещи, мы их читаем, а тут явился в нашу деревню и дезориентировал молодежь...»

...В кафе «Араке» кофе был чересчур горьким. Левон не стал пить его, попросил рюмку коньяка. Он сидел на высоком вертящемся стуле. Напротив в зеркале двоились люди, бутылки, сладости, свет, дым. Ваграм еще не очнулся от наркоза, интересно, чувствует ли он что-нибудь и что именно? Вчера вечером звонил Рубен, потом Карлен, они знали о болезни Ваграма. «Чем можем помочь?» Чем тут поможешь? Но все же хорошо, что позвонили. Татевик сегодня собиралась приехать и, наверное, сейчас звонит к нему домой.

– Еще рюмку.

Он видел только женскую руку, наливающую красное вино. Трудно сказать, что он чувствует к Татевик. Удивительная девушка. Коньяк он выпил.

А машинка продолжала отстукивать в голове.

«...Я думаю, – продолжал директор, – здесь и о товарище Шагиняне должен

быть разговор, поскольку ему писать статью. Боюсь, что он может ввести в заблуждение нашу славную молодежь». – «Это уже вас не касается, – перебил его Степанян, – скажите лучше, куда смотрели вы, ваши педагоги, комсомольская организация и как это могло случиться в наши дни?» Потом он вдруг обратился к сидевшей рядом с директором девушке: «А ты что скажешь, товарищ... – взглянул на листок перед собой, – Карапетян?» Девушка смущенно поднялась. «Что мне сказать?» Посмотрела на собравшихся. Степанян подхватил: «Не знаешь, что сказать? Вместе учились, дружили – и не знаешь? А вы разве не замечали их отношений, не интересовались, куда они отправляются после уроков, что делают? И почему двое комсомольцев все-таки пошли на похороны? Вы обсудили их поведение?»

Девушка смотрела молча и удивленно, – должно быть, подыскивала слова. «Говори, Гаянэ-джан, – побуждал ее Папикян, – люди ждут, что ты как воды в рот набрала?» – «Мы ждем, девушка», – холодно выдавила Нвард Мамян.

Нет, не мог я молчать.

«Гаянэ, – заговорил я, – разве тебе трудно осудить малодушие своих товарищей? Тем более что их уже нет в живых...»

Степанян что-то сказал, наверное, в мой адрес. Нвард наконец взглянула на меня, глаза у нее были светло-зеленые. Папикян кивнул головой, а директор школы закашлялся. «Оставьте ваш юмор, товарищ Шагинян, – сухо произнес Степанян, – когда надо, и мы можем поострить, а сейчас обсуждается серьезный вопрос». – «Ну, что мне сказать? – заговорила наконец Гаянэ. – Асмик была моей близкой подругой, а лучше Сероба нет никого. Я каждый день ношу на их могилы цветы, – она подняла глаза, посмотрела по-взрослому, – и клянусь, что не ходила на похороны. Мама моя, учительница в нашей школе, не пустила. Если меня и надо проработать, то только за то, что я не была на похоронах, только за то». – «И проработаем, – вскрикнула с места Нвард, – такие, как ты, не могут руководить другими!»

Ну никак я не мог молчать.

«Именно она и может».

Наконец наши глаза встретились. Нет, они у нее не зеленые и не светло-зеленые, просто миндалевидные, с короткими ресницами, спокойные и холодные.

«Левон, не мешай человеку, – мягко сказал Степанян. – Хочешь, потом дам слово?»

«Не хочу».

Несколько минут стоял шум, потом один за другим говорили несколько человек, все по конспекту Нвард. Гаянэ сидела, опустив голову, Папикян что-то нашептывал ей на ухо, в комнате словно не хватало воздуха.

Нет, я не мог молчать.

«Я вижу, многие торопятся, наверное, у них билеты в кино, на новый французский фильм, так что буду краток. – После этих моих слов Степанян холодно взглянул на меня, хотел прервать, но смолчал. – Вот что я предлагаю: исключить Сероба и Асмик посмертно из комсомола, а директора школы товарища Бегоняна представить к званию заслуженного учителя, если у него еще нет этого звания».

«Ты издеваешься над столькими людьми?» – глухо произнес Степанян.

«Я просто подытоживаю ваше обсуждение в полном согласии с логикой его направленности». И я сел.

«Мы сами подытожим...»

«Бедные, наивные дети, вы что-то хотели доказать миру?...»

В комнате было темно, светился лишь зеленый глазок магнитофона. Машинка в голове угомонила, а написанные страницы стерлись, будто их смыл сильный осенний дождь или чьи-то лиловые слезы. Он включил радио, и месса из магнитофона смешалась с последними известиями. Попробовал заснуть, но ничего из этого не вышло. Перед глазами предстала мать, такая, как была в больничном дворе. Что мы знаем о своих родных? В трудные годы, когда пожертвовав молодостью и примирившись с одиночеством, она воспитывала его и Ваграма, он ничего еще не понимал. Когда случилась беда с Ваграмом и умер отец, они с матерью остались одни и сердце ее словно окаменело. Сколько раз

она целовала его? А целовала ли? Мать обязана оставаться сильной, а сила меняет женщину, делает ее другой. Ваграма освободили, и мать полностью посвятила себя ему, как будто хотела возместить ему недоданную за годы нежность. Левон рано вступил в жизнь. И жизнь, надо сказать, баловала его. Он хорошо учился, писал стихи и любил читать их, был искренним и вспыльчивым и не обойден друзьями. Он рано созрел. «Зреет только дыня, – сказал бы Каро, – а человек стареет». Постарел?... Наверное. Старость – это не морщины, не изменение кровяного давления и не уход на пенсию... Он выключил радио: лучше уж вздремнуть, скоро позвонит Ашот.

Закрыв глаза. Как могла Нвард?... А стоило ли ему лезть на рожон? Кого и в чем он убедил? Уснул, что ли? Все звуки как утонули, только месса чуть слышна.

Уснул.

Телефон.

– Ашот?

– Левон, приезжай скорее.

Скорее...

...Ваграм лежал, накрытый белой простыней. В палате были Ашот, профессор и две сестры. Профессор стоял понурый, скрестив на груди руки. Левон откинул простыню, рот у брата был полуоткрыт. Значит, все кончено.

15

На пороге Левон потушил сигарету, почему-то кашлянул и толкнул кожаную дверь, на которой что-то было написано золотыми буквами по стеклу. Женщины за письменным столом сразу обернулись в его сторону, и он увидел на столе хлеб, бутылки с мацуном, чайник. Такая же стеклянная табличка, тоже с золотыми буквами, висела и над письменным столом, на ней было всего два слова. Левон прочел их и только сейчас догадался, что женщины завтракают за столом брата. Какой-то нерв занял внутри, и он попятился назад, решив

подождать в коридоре.

– Входите, – услышал он за спиной голос, – мы уже кончаем.

– Ничего, вы завтракайте, – сказал он спокойно, сердце его вдруг смирилось, покорилось. – Я здесь подожду. – Он затворил дверь и повернулся к окну.

В окно виднелся двор, сновали люди, разбрызгивая грязь, въехала в ворота автомашина, и водитель, выскочив из кабины, схватил кого-то за рукав. Голосов не было слышно. Вскоре они под руку вышли со двора.

Женщины быстро управились, в окне отразилось, как одна из них энергично вытирает толстое настольное стекло. Стирает следы пальцев Ваграма, грустно подумал он, но затянулся дымом сигареты, не желая ни о чем думать. Кто-то встал возле него, он обернулся.

– Как Асмик и дети? – Женщина хотела отвлечь его, Левон это понял. – Завтра мы хотим зайти.

– Ничего, – пожал плечами Левон, – как в таких случаях...

– Если бы он раньше сказал, взяли бы в больницу и...

– Да, конечно, что говорить...

Зазвонил телефон на столе Ваграма.

Звонил долго.

Женщины переглянулись и продолжали заниматься каждая своим делом. На этой трубке следы пальцев Ваграма, его дыхания. Ее тоже, наверно, вытрут, может, даже и спиртом. Отсюда ему надо в аптеку, потом к брату домой, забрать кое-какие бумаги, сдать – и конец. Конец чему? Как-то в прошлом году он заходил сюда. «И гарем же у тебя», – пошутил, кивнув на четырех бухгалтерш. Посмеялись, младшей из них было лет сорок. Теперь брата нет, а «гарем» сидит в той же комнате. Последние годы он мало видел Ваграма, казалось, у брата своя жизнь, и он счастлив. При встречах им не о чем было говорить, кроме футбола. Снова зазвонил телефон. Трубку взяли.

– Да, да. – Женщина говорила почти шепотом. – Шагиняна? Вы позвоните... позвоните через неделю. Главный бухгалтер будет.

И вдруг стало нестерпимо оставаться здесь дольше, захотелось уйти и не возвращаться, но он остался: лучше все закончить сегодня. Стол уже блестел чистотой, женщины куда-то тихо вышли. Куда? Наверно, за Акопяном. Комната начальника стройуправления была на втором этаже. Акопян как-то произнес сорокаминутный тост в доме Ваграма.

Левон подошел к столу Ваграма, потрогал отточенные цветные карандаши.

– Сейчас товарищ Акопян придет. – Женщина подошла к Левону: – Как Асмик, дети? У Акопяна сидит кто-то из министерства.

– Спасибо, ничего, я подожду.

Асмик, жена брата, и дети уже неделю жили у ее родителей. Надо привести в порядок квартиру, там не работает холодильник, вызвать мастера, пристроить младшего племянника в детский сад. Асмик ведь хочет работать. Но где?

Вошел Акопян.

– Здравствуй, здравствуй. – Он протянул руку. – Извини, ко мне тут приходили...

Лицо у него было усталое, под глазами мешки, словно пчела ужалила. Видно, вечером пил и засиделся за полночь.

Акопян сел было на стул Ваграма, потом пересел. С минуту помолчали, как перед дорогой. Акопян подозвал одну из женщин:

– Попроси Арама из планового, быстро.

Женщина лет пятидесяти торопливо вышла. – Мы с Арамом просмотрели дела – все в порядке, полный ажур. Просто удивительно. Ты знаешь, как я ему доверял, и тем не менее удивительно. Эх!.. Остается еще сейф. Подумал, нет ли чего личного, так что лучше нам вместе осмотреть, потому и позвонил тебе. А вот и Арам.

Араму года тридцать два, он в очках. Молча кивнул, вынул из нагрудного кармана желтый ключ, протянул Акопяну.

– Почему именно я? – спросил Акопян. – Сам открой.

Опять внутри заныл какой-то нерв. Левон посмотрел на металлический шкаф, окрашенный в цвет дешевого гроба. Вдруг представилось, что из-за

коричневой двери сейчас вылезет какая-то тайна, туман, который не рассеется. Желтый металлический ключ четыре раза повернулся в замке.

– Дай закурить, – попросил Акопян. – Эх...

В сейфе было полупусто. Арам вынул, разложил на столе несколько папок, телефонную книжку, бумаги и какую-то книгу без заглавия.

– Записную книжку можешь забрать – здесь адреса. А книгу посмотри и остальные бумаги тоже, – сказал Акопян.

Левон взял записную книжку, полистал: адреса, записанные по-русски и по-армянски, номера телефонов. На предпоследней странице карандашная запись.

– Что здесь? – спросил Акопян.

– Стихи. – Стихи показались знакомыми, сунул записную книжку в карман. – А книга?

Левон раскрыл первую страницу, и нерв внутри него не занял, а закричал. «Книга пути» – любимая книга брата. Когда-то, после ареста брата, он закопал эту книгу, а когда брат вернулся, откопал, принес ему... На миг все вокруг расплылось: письменный стол, женщины, Акопян, круглые очки Арама. Воспоминания гирями повисли' на ногах, на глазах, но он сумел сдержаться. Потом вложил книгу в газету, завернул со всех сторон, как обматывают рану, и принялся просматривать бумаги. Опять стихи... «И даже нет сил вспоминать...» Неужели их написал брат, может, и те стихи, в блокноте, тоже написал он?... Вряд ли. Во чреве сейфа, словно вспоротом скальпелем хирурга и ждущем, пока его вновь зашьют, ничего больше не оставалось. Левон по одной пересмотрел все бумаги.

– Все в порядке, – сказал Акопян, – не беспокойся, все в наилучшем виде.

На какой-то бумаге, напоминающей приходный ордер, снова стихи. Читать он не стал.

– Можно забрать?

– Что? – Акопян взял ордер, удивился: – Зачем тебе?

– На обороте стихи.

– А-а... Какие стихи?

– Не знаю. Может, его.

– Шагиняна?

– Да.

– Шагинян писал стихи? – Акопян был поражен. – Вот уж никогда бы не подумал.

– Писал, – вдруг заговорил Арам. – Как-то был под хмельком, прочел грустные стихи, сказал, что это его собственные...

– Возьми, – сказал Акопян, – посмотри, может, еще найдешь. – Он протянул Левону ордер. – Значит, стихи писал...

Левон отыскал еще кое-что, собрал все в газету. Арам запихнул папки в сейф, запер желтым ключом.

– Арам пойдет с тобой, – сказал Акопян. – Ты ведь к Ваграму, как условились? Арам ходит с тобой, заберет дела.

Левон посмотрел на очкастого бухгалтера, знавшего печальные стихи брата, и решил, что, видно, он и заменит здесь брата.

– Значит, Шагинян писал стихи, – размышлял вслух Акопян. – Кто бы подумал? Я распорядился выписать месячную зарплату его семье, пошлют домой. Асмик дома?

– Будет дома. – Левон почему-то посмотрел на синий телефонный аппарат. Телефон показался частью брата, рукой, ногой, тенью... Неделю-другую еще будут звонить и спрашивать его, потом привыкнут, станут спрашивать Арама. Арам станет писать карандашами, отточенными братом, считать на счетах брата, класть очки на стол брата. Я опять делаюсь сентиментальным, – подумал Левон и взглянул на Арама, добавляющего желтый ключ к своей связке, и хотел улыбнуться; кольцо поддавалось с трудом, Арам давил сильнее, словно от этого зависело что-то важное...

– Э! – протянул Акопян, желая, видимо, этим сказать, что такова жизнь, все уйдет. – Передай Асмик мои соболезнования. Я как-нибудь загляну к ней. До сих пор не могу поверить. Кто бы подумал?...

Левон понял, что Акопян хоть и хороший человек, но никогда не «заглянет»

к Асмик. Поднимется сейчас к себе и тотчас забудет и Ваграма, и Асмик – зазвонит телефон, кто-то зайдет, принесет бумаги секретарша.»

«Гарем» брата разошелся по своим местам. Женщины все еще думали о Ваграме, хотя после ухода Левона застучат костяшками счетов и жизнь потечет своим чередом.

В коридоре было холодно, на полу лежал слой опилок. Надо было достать племянникам путевки в лагеря, и Асмик тоже следует отдохнуть... Горела лампочка. Ваграм бы непременно выключил ее еще с утра, он не выносил, когда зря жгли электричество, и мог десять минут толковать об уроне, нанесенном одной горящей лампочкой. А опилки лежат здесь с неделю, были еще при Ваграме...

– Ну, я пойду, – сказал Акопян. – Звони, если что. – Он протянул ладонь, широкую и влажную. – И заходи, когда будет время.

– Четвертый номер останавливается напротив дома товарища Шагиняна? – сказал Арам.

– Кажется. – Левон ощупал книгу, бумаги под мышкой и неизвестно почему спросил: – Наверное, вы теперь будете вместо него?

Арам смутился, палец его в эту минуту как раз лежал на желтом ключе связки, скорее всего машинально.

– Посмотрим, – пожал он плечами, поправляя очки. – Нерсес Тиграныч должен пробить это в тресте, у них там своя кандидатура.

Нерсес Тиграныч – это Акопян.

– Мне будет очень трудно, – продолжал очкастый, – после товарища Шагиняна... Не знаю...

Левон не слушал его. Целая жизнь пронеслась перед глазами. Очнувшись от своих мыслей, сильнее зажал под мышкой бумаги брата. Все эти годы, едва он заводил с Ваграмом речь о стихах, брат отвечал: «Брось, ей-богу, я же бухгалтер. Поговори лучше со мной о дебете-кредите, о балансе. Что мне до стихов?» Брат зачеркнул прошлую жизнь, так казалось Левону. Но эти стихи в записной книжке!.. Еще в детстве Левон знал, что брат пишет стихи. Когда случались

гости в доме, он читал их, став в угол и то и дело отбрасывая со лба волосы. Левон тайком заглядывал в его тетради, пробогал читать, но ничего не понимал...

На третий день после возвращения, это была весна сорок первого года, Ваграм спросил у матери:

– И тетради мои сожгли?

– Да, сынок.

– Все?

– Слепнуть мне. Ничего, еще напишешь.

Больше он не писал.

И не читал стихов. На его письменном столе лежали лишь бухгалтерские бумаги и простые счета.

Однажды Левон отнес ему свою новую книжку, но через два месяца, когда он спросил:

– Прочел?

Брат ответил:

– На что тебе мое мнение? Выпьем-ка лучше.

Вначале это огорчало Левона, но потом он решил, что за пятнадцать – двадцать лет брат очень изменился, и больше с ним на эту тему не заговаривал: стоит ли беречь душу человеку, напоминать о потерянном...

И вот...

– Садимся? – услышал он над ухом.

Голос принадлежал Араму, подъехал его троллейбус.

– Получайте билеты, – сказала тоненькая девушка, в глазах которой все человечество было сборищем безбилетников.

– Проездной, – бросил Арам.

Троллейбус, несмотря на свои габариты, вертко катился по асфальту.

В тот день, когда Левон принес брату свою книгу и они выпили водки, Ваграм вдруг стал жаловаться на жену, на детей и даже на мать, сказал, что никто его не понимает. Оказывается, он подал в райсовет заявление, чтобы разрешили

провести во двор водопровод, и пять месяцев не было ответа. Досталось и Левону. Ваграм говорил, что сердце побаливает, что совсем. потерял память, иной раз садится не в свой автобус.

Левон приписал его настроение выпитой водке. А еще как-то увидел его в дешевом кафе в небольшой компании – с завхозом, кассиром и водителем. Под столом на линолеуме стоял разбитый стакан, валялись окурки. Ваграм говорил о дружбе, о вере, без которых трудно жить. Свою речь он и не вспомнил бы на следующий день, но, видимо, ему нравились испуганное молчание и удивление приятелей. Здесь он явно чувствовал себя лучше, чем дома. Когда Левон завел речь на эту тему, брат зло и отчужденно ответил, смерив его взглядом с ног до головы: «Брось, ты интеллигент, книги читаешь, нас тебе не понять».

Левон вынул записную книжку брата, – пробежал глазами фамилии – все незнакомые. Поискал на букву Л – не было ни его имени, ни телефона. На предпоследней странице прочел неразборчиво записанную карандашом строку: «Снег повсюду, снег на моих волосах...»

– Следующая наша, – услышал он голос Арама, – пройдем вперед.

«Наверное, торопитесь», – подумал Левон и почти с ненавистью посмотрел на него.

Они медленно шли по слякоти. Левон впервые переступал этот порог после смерти брата.

– Ты подожди здесь, – сказал он Араму, – позову.

Он открыл ключом дверь, войдя, не забыл вытереть о половик ноги. Здесь стояли тапочки и галоши, зимой брат носил галоши. В углу висело пальто, через месяц-другой его отнесут в комиссионку, хотя пальто сшито этой весной, но носить его будет некому: старшему племяннику двадцать лет, и он любит одеваться по моде. Отнесут, конечно, только бы уж куда-нибудь подальше. Глупые, бесполезные мысли, допустим, на окраину отнесут, что из этого? Он сел в кресло, закрыл глаза и понял: так стареют люди. Сколько прошло времени?

– Арам! Входи...

– Холодно... Зажечь свет?

– Свет? Зажги.

Арам, точно следователь, рылся по ящикам, извлек папки, журналы – вывалил все на стол.

– Вот они, – взял две папки.

– Постой. – Левон спокойно отобрал папки, открыл и полистал ордера, бумаги, исписанные аккуратным почерком брата.

– Это те папки, – повторил Арам.

– Понятно, – сухо и немного ядовито произнес Левон. – Если торопитесь, можете уйти, я вам их утром пришлю.

– Нет, что вы! Я подожду. Почитаю газету.

На обороте расходного ордера он прочел: «Я прожил очень тяжелую жизнь, и нет надежды на что-либо лучшее. Если все живут, как я...» Осторожно вытащил бумагу, отложил в сторону, дальше листал, как в лихорадке, откладывая бумажки со стихами, прочел даты: 1942 год, 47, 49, 54, 56, 59, 62, 65... Последняя – за два месяца до смерти. «...Я одурманен ядом тяжелых мыслей. Это моя жизнь». «Молчание избрал я себе другом, хоть и нахожусь среди людей». «Итак, жизнь обрекла меня на смерть при жизни». «Стою я на пороге своего пятидесятилетия, усталый, выжатый, как гроздь винограда, пропущенная сквозь фильтр. Ни к чему мне свобода: ни надежды, ни цели, все в прошлом».

Значит, все эти годы в душе брата тлело прошлое, в какой-то клетке мозга бухгалтера жил убитый поэт. Левон увидел брата ясно, как живого, в тот день, когда они осенним утром спустились в ущелье. Ему надо было ехать в город, на курсы бухгалтеров, а он вдруг захотел в ущелье, хотя стоял октябрь.

Было совсем как в детстве, когда Ваграм учил его плавать у Петушиного камня. Вскоре Левону стало скучно и вдруг... Ваграм лежал ничком и плакал, плечи его содрогались от рыданий, сухие травинки запутались в волосах, пальцы царапали осеннюю землю.

Слов, нужных в ту минуту, Левон еще не знал, ему было всего двенадцать лет. Он только смущенно сжимал в пальцах голыш, который собрался бросить в

воду...

– Ваграм!

Брат наконец поднялся, вытер глаза, вынул из-за пазухи тонкую ученическую тетрадь со стихами. Пробежав глазами листки, он быстро разорвал их и, скомкав, выбросил под Петушиный камень. Левон ошеломленно смотрел на спокойное, немного озлобленное лицо брата, глаза которого были какие-то стеклянные.

– Зачем ты?

– Не понять тебе, Левон.

Он не понял даже потом, думал, что все кончилось у Петушиного камня, в тот миг, когда воды Касаха унесли листки своего обиженного сына. Значит, не все кончилось, только с этого дня поэт превратился в лунатика, который выходил, когда все спало – люди, деревья. Левону он казался устроенным, благополучным человеком. И лишь теперь, читая эти отрывочные, робкие строки, затерявшиеся среди бухгалтерских бумаг, начал понимать не только брата.

Левон забыл об Араме, он забыл обо всем. Внутри его что-то оборвалось: кому теперь нужно это запоздалое открытие, когда рядом с ним жил и скончался брат...

Дальше читать не хотелось.

Ложь, на свете ни от кого не остается никакого следа ни на песке, ни в чьей-либо памяти, ни во времени. Человеку остаются только прожитые годы. И ничего другого. Значит, от Ваграма ничего не останется. Тяжело.

Снова закурил.

– Арам.

– Да? – Он отложил газету.

– Какое стихотворение прочел тогда Ваграм?

– Не помню, грустное какое-то.»

– Ты на футбол ходишь?

– Иногда меня звал с собой товарищ Шагинян.

И Левон вспомнил последнюю ночь брата. «Выживу?»

«Конечно, что ты говоришь».

Ваграм смотрел по-детски жалобно, словно от Левона зависело все, словно он был богом...

– Я пойду. – Папка была зажата под мышкой у Арама. – Если что осталось, заберу потом...

Левон смотрел на него и думал, какое этот человек имеет отношение к его брату, к бумагам, к свету в его доме, который Левон недавно зажег.

– Знаете, мне еще надо зайти за ребенком в школу, до семи часов... Так что... В английскую школу ходит.

– Кто?

– Мой сын Андраник.

– А-а... Ну конечно же, идите, я позвоню, если что. До свидания.

– До свидания... Я многим ему обязан. Жизнью обязан.

– Кому?

– Товарищу Шагиняну.

– А-а. – Левон внимательно посмотрел на стоящего перед ним человека, который уносил под мышкой рукописи непрожитых лет брата. – В каком классе ваш мальчик?

– Во втором.

– Это хорошо.

«Сумма аванса, взысканная по приходному ордеру центрального универмага...» А строчкой ниже: «...И время делает из меня пепельницу». Там же, строчкой ниже!.. Все параллельно – сумма аванса и «время делает пепельницу». С ума сойти. Время засыпает пеплом сердце, мозг, надежды человека. Постепенно. Или сразу?»

Левон перестал читать, собрал все бумаги в одну папку и крупными буквами надписал:

«Бумаги Ваграма».

Он прочтет их потом, будет читать всю жизнь, и они вечно будут мешать

ему поверить в то, что он способен понимать людей.

Вечером позвонил невестке.

– Был у Ваграма на работе, потом у вас дома.

– Что там?

– Сейф вскрывали.

– И что в нем было?

– Да ничего. Все в порядке. А из дома кое-какие папки забрал Арам.

– Арам?

– Да, он займет должность Ваграма.

.....

– ...Среди бумаг я нашел стихи.

– Чьи стихи?

– Его. Очень грустные.

– Да-а? Не читала. Он, кажется, действительно по ночам что-то все писал...

Левон медленно опустил трубку.

Скоро невестка позвонила сама.

– Что-то разъединилось?...

– Не знаю. Сейчас телефоны плохо работают.

– Да-да! – Невестка ничего не поняла. – Утром звонила подруга...

И Левон опять отключился:

– Спокойной ночи.

16

Тополь, видневшийся через стеклянную стену ресторана, был выше Арагаца. Тополь находился на другом берегу Касаха, Арагац – далеко, тополь казался выше. Левон разглядывал тополь и как-то обмяк. Действовали коньяк, папиросный дым, и только чашечка кофе отчаянно боролась за ясность его ума. После напряжения последних дней он впервые чувствовал приятную истому,

словно сидел на солнце, голый и опустошенный. В село он приехал утром, спустился в ущелье, сел на Петушиный камень и стал смотреть на волны, как тогда. Волны были уже не те, что унесли бумаги Ваграма. Те давно достигли морей-океанов и не вернутся назад, а для камней не существует прожитых или непрожитых лет.

В ущелье не было ни души, а шум реки – самая приятная тишина. (О, если бы люди умели молчать! Вспомнились слова Каро: «Разговаривать люди учатся первые два года, а всю остальную жизнь хотят научиться молчать. Порядочным людям это не удастся...») Вчера, когда он вернулся домой, позвонила Нвард. Обычные расспросы, – и вдруг: «Прошу, пойми меня правильно, я как человек... ты понимаешь?., не могла...» Левон тоже что-то сказал. «Не обижайся, пожалуйста, по-человечески я вполне согласна с тобой, но...» Как гнусно! Официант поставил перед ним еще одну чашечку кофе и посмотрел на Левона удивленно и со скукой, потому что в ресторане он был один. В это время здесь никого не бывает, а вечером рассаживаются вокруг столов, начинают шуметь, пить, ругаться, потом целоваться. Или наоборот – сначала будут целоваться, потом ругаться. Когда-то он шутил: «Человек после большого напряжения должен автоматически выключаться на некоторое время, как холодильник...»

Не знал он, что наступит день, когда он изо всех сил будет стараться отключиться, но ничего из этого не получится. На словах все легко. Чего хотела Нвард? Он не нуждался в ее объяснениях, ему вообще ничего в этот день не нужно было. Левон вдруг улыбнулся, вспомнив Папикяна: «Тикуш очень обиделась, а Парнака я как следует выругал за портрет, чтобы впредь не шутил. Тикуш сказала, чтоб в следующий раз с невестой приезжал». Со смертью каждого близкого человека умирает и какая-то частица нас самих. Но смерть каждого близкого человека в то же время обязывает нас прожить его непрожитые годы, выпить вино, что он не успел выпить, и даже долюбить то, чего он недолюбил... Странные эти мысли назойливо обступали его, он старался заглушить их коньяком, клубами дыма.

– Еще коньяку.

Официант смиренно посмотрел на него.

– Не много ли?...

– Неси. – Он с трудом удержался, чтобы не нагрубить. В другое время взорвался бы, слова летели б из него, как пробка из шампанского.

Тополь выше Арагаца, эта мысль снова пронеслась в голове, и он с удивлением подумал о последних десяти – пятнадцати днях. Потом вступил в молчаливый диалог с самим собой. Такое с ним случалось и прежде. Левон сидел один, воображая самого себя за другим концом стола. Это бывало в минуты душевной напряженности, а душа ведь так же материальна, как тело, и тоже устает от одной и той же позы, одних и тех же чувств, одной и той же печали. Душа, вроде тела, наверное, садится, нагибается, барахтается. Пустяки, просто человеку иной раз хочется остаться наедине с самим собой, лицом к лицу с собой, хочется расщепиться, как ядро атома. Магнитофон, записывающий внутренний диалог. Если бы такой магнитофон существовал, он бы зафиксировал разговор Левона с Леоном...

– Устал я.

– Ну и что! Ты ведь живешь, пьешь коньяк, жизнь продолжается. Вот только что и анекдот слушал, и смеялся. Переживешь!

– Я не говорю, что не переживу. Но за эти дни изменилось что-то очень важное.

– Хочешь сказать – созрел?

– Созревают дыни, человек стареет.

– Ах, ты постарел! Это тебе только кажется. Пройдет несколько дней, и увидишь, что все будет по-прежнему.

– По-прежнему! Я не книжный шкаф, чтобы спокойно все принимать в себя и раскладывать по полочкам. Я человек.

– Знаю. А ты не думаешь, что было бы лучше половину своих эмоций растратить тогда, когда Ваграм был жив?

– Пытался.

– Знаю. Сейчас скажешь, что он сам был виноват, притворялся, таился, не

подпускал к себе. А ты попытался бы еще и еще раз, пусть бы он злился, не понимал тебя, но ты бы попытался. А сейчас перестань, что толку теперь думать об этом. Людей надо любить, пока они живы. Никогда не можешь сказать, встретишь ли завтра того, кого видишь сегодня. В свое время надо быть добрым, к чему сейчас цветы и слезы.

– Я не плакал.

– Знаю. Это все заметили, даже шептались: брат умер, а ему нипочем, и побриться не забыл.

– Ну и пусть шепчутся. Что мне, организовать коллективный смотр моей души?

– Не знаю. Но прошла всего неделя с похорон, а ты пьешь в ресторане, два дня назад был у Лилит.

– Ну и что же?

– Ничего. Такова жизнь. Но и ты не осуждай других. – Тебя огорчил поступок Нвард, а сам ты разве не поступал так же?

– Например?

– Как ты поступил на бюро! Сострил, и тебе показалось, что ты все сказал. Смешно! Ты же любишь повторять: надо прожить каждый день так, как если бы это был твой последний день, – сказать подлецу, что он подлец, успеть ненавидеть, любить, верить. Завтра может быть уже поздно.

– А что я мог сделать?

– Значит, не злился на Нвард. Она молодая девушка, недавно на этой должности, ты что, хочешь, чтобы она пела хвалу самоубийцам?

– Хотелось, чтобы она по крайней мере не плакала над ними же за день до этого.

– Пустое! Ты и сам нередко притворяешься.

– Нельзя подделывать горе.

– Думаешь, можно только подписи подделывать? И потом – в чем ее притворство? Ну, расстроилась, поплакала, а официальная позиция – дело другое.

- Не понимаю.
- Почему? С тобой не случилось – думаешь одно, а пишешь другое? Не случилось?
- Я попросту не писал тогда, когда нельзя было сказать того, что думается.
- Молчал, а это тоже не геройство, не так ли?
- В плену, например, молчание – геройство.
- Брось, это оправдание слабых, а потом – что за сравнение...
- Ну что я мог сказать на бюро?
- Всю правду. Дал же ты пощечину тому щенку. Молодчина. Отчего же выступить побоялся?
- Я выступил!
- Ладно, хватит. Там сидели ответственные товарищи, могли бы не сегодня-завтра разделаться с тобой, а на Севане был желторотый юнец и рядом твои друзья.
- Да, друзья. А кто бы поддержал меня на бюро?
- Пусть бы не поддержали. Тогда уж не играй в героизм.
- Я не играю в героизм.
- Это модно теперь. Жалуются, бьют себя в грудь, но достаточно легкого ветерка, чтобы надеть шапку, – как бы не простудиться. Вы любите кинжал в ножнах. А может, не вынимаете его потому, что знаете – он деревянный.
- Устал я...
- Отчего устал-то? Скучно с тобой, брат. Лучше выпей.
- Я и пью, что остается делать?
- Опять играешь? Кончай.
- Я не играю. Видишь, вот и одноклассники встретились, а что из этого вышло?
- А что должно было выйти? Встретились, вспомнили детство, повеселились, поговорили...
- Больше молчали.
- Больше, меньше! Все взвешиваешь, измеряешь. Эти же самые друзья

удивили всех в дни болезни Ваграма. Помнишь, врач сказал, что нужен лимон, и через полчаса в больнице было сто лимонов, когда для Ваграма хватило бы и одного. Помнишь, всю ночь они оставались с тобой...

– Помню, такое не забывается, но все же...

– Что «все же»? А сам ты что сделал для них, а?

– Ничего, они вроде не нуждались во мне.

– Стыдись. Внутренний мир людей не бутылка лимонада, которую можно разлить по стаканам до последней капли, а сам ты ни перед кем не раскрываешься.

– Я не выношу подлости.

– И правильно. Но надо ведь постараться понять человека.

– Мне надоело понимать.

– Смешно... Английский анекдот слышал? Некто кончает самоубийством, на столе находят письмо: «Прошу в моей смерти никого не винить, просто мне надоело ежедневно бриться».

– Ну и что?...

Был уже полдень.

Левон вышел из ресторана.

Утром Кероб подбросил его на машине в село.

– Сколько у него было детей? – спросил Кероб.

– Трое.

– Младшему сколько?

– Четыре года.

– Как моему Арапку. Ничего, вырастет. Все вырастут. Его самого жалко.

Машина ехала медленно. Редактор обещал напечатать статью, если Левон кое-что изменит. «Хочу напечатать до отъезда». – «А куда едешь?» – «Как куда? Забыл?» – «Как знаете, – сказал Левон, – хотите – печатайте». Дорога в село раньше петляла, была длинная, а теперь каждый год делается короче. В годы войны они добирались до города на грузовиках часов за пять. На полпути было

небольшое строение, крестьяне называли его «почтой». Некогда здесь, видно, был постоянный двор, где останавливались передохнуть, поменять лошадей. Строение давно снесли. Левон все старался припомнить, где оно стояло. Зачем все-таки снесли его? Теперь здесь широкая, прямая дорога. А Татевик звонит каждый день.

– В отпуск собираюсь, – сказал Кероб.

– Когда?

– На днях, как только редактор уедет.

– Возьми путевку в санаторий, там хорошо отдохнешь.

– В санаторий? Нет, я уж лучше дома отосплюсь. Спать ночью – это такое удовольствие.

– В санатории тоже можно выспаться.

– Нет, дома лучше. Так ты не женишься? – Он осекся, поняв, что вопрос неуместен. – Есть у нас сосед, ему сорок восемь, на днях женился и девушку взял хорошую – двадцати семи лет. Подумать только, что делается на свете!

– Значит, мне не к чему спешить.

Село показывается сразу. Видны ущелье, дома, кладбище, остроконечный купол церкви Маринэ, нависшие над ущельем веранды.

– Левон...

Село бежит навстречу, увеличивается, обрастает подробностями, красками. Сейчас дорога свернет чуть влево, и покажется школа, где он проучился пять лет. Здание окрашено в белый цвет, стекла блестят.

– Ты что-то хотел сказать?

– Вы поругались с редактором.

– Нет, почему это я должен ругаться?

– Не знаю. Родится у тебя сын, назови его Смбатом, знаешь, почему?

– У меня не будет сына...

Первым строением в деревне была бензоколонка. Кероб свернул вправо, медленно подъехал, остановился и вышел. Сквозь стеклянную дверь они увидели человека, голова его лежала на столе.

– Сурик! – окликнул его Кероб, он часто проезжал здесь и _знал его. Левон тоже знал. – Сурик! – позвал еще раз Кероб, но уже тише, осторожнее.

– Спи, ты разбуди его, – сказал Левон.

Кероб обернулся:

– После налью, пока есть литров пять.

– А говорил – пол-литра.

– Мало ли что говорил. Если хочешь знать, я и до Еревана могу дотянуть.

Сон – святое дело.

Левон шагал по деревенской улице, окаймленной тонким ручейком, приземистыми домами. Старые улицы похожи друг на друга печалью, но старая улица родного села таит в себе и радость. В ней сохраняется в чистоте, ничем не запятнанное, наше детство. Еще уцелела стена, на которой ты стоял в семь лет, ручей, перепрыгивая через который ты упал в воду, персиковое дерево, с которого крал персики. Левон шел медленно, а ручеек с шумом бежал по невидимому следу, словно доставлял кому-то важную телеграмму. На стене полуразрушенного дома, на прогнившей оконной раме сидела, слившись с окном, черная пушистая кошка. Уже весна, нагрелись даже прогнившие доски. Ему не хотелось ни с кем встречаться, но не удалось.

– Здорово, Левон, куда это?

– Просто гуляю, Седрак.

– Зайдем к нам, опрокинем по стаканчику.

Седрак был немного старше Левона, у него большие голубые глаза. Лет пятнадцать назад, когда в райцентре еще существовал театр (тогда райцентр назывался селом, сейчас – городом), он играл на сцене: в «Сосе и Вардитер» – Соса, в «Намусе» – Сейрана – и неплохо пел. Сейчас он работает в буфете небольшого кафе по дороге, ведущей в Ленинакан. Веселый, разбитной парень.

– Если не зайдешь, обижусь.

И отец у него был замечательный человек, недавно умер. В тридцатые годы одним из первых вступил в колхоз, но тоска по своему селу сжигала ему душу.

– Спасибо, Седрак-джан, как-нибудь в другой раз.

– Нехорошо поступаешь. – Седрак свернул в узенький проулочек.

Меж домами завиднелась церковь Кармравор.

– Здравствуй, Левон.

Мужчина улыбался, лицо знакомое, но Левон не помнит, кто это.

– Здравствуй... – неопределенно сказал он.

– Не узнаешь?

Церковь Кармравор совсем приблизилась. Со своей высоты она казалась обиженной, уже видны были могилы.

– Признаюсь, не помню, извини...

– Я Татос. Как-то ночью мы вместе ехали в Бюракан. Осел плелся сзади, на него был навьючен припас, у меня разболелась нога, и меня посадили на осла, а ты обиделся, почему тебя не посадили. Всего один был осел...

– А-а...

Когда это было?... Наверное, лет двадцать назад или того больше.

– Здравствуй, Татос, ты извини, давно не виделись.

Они зашагали рядом.

– Пятеро детей у меня, старшему шестнадцать. Останешься на вечер?

– Нет, Татос-джан.

– Отчего же, пойдем к нам, девчонка моя пишет стихи, почитаешь. Я о тебе столько рассказывал. Не довелось мне человеком стать, так пусть хоть они...

Вышли на деревенскую площадь...

– Я тебя найду, а сейчас мне надо ехать в Ошакан.

Левон надел темные очки, вспомнил Каро: «Темные очки защищают не от солнца, а от знакомых». Так лучше. Он зашагал к церкви Маринэ.

На письменном столе лежали три конверта. Один распечатанный, за подписью редактора. Второе письмо было от Татевик. На третьем вместо обратного адреса написано: «От Гаянэ Карапе-тян». Конверт был толстый. Он

развернул его. Внутри оказались ученическая тетрадь и маленькая записка.

«Здравствуй, товарищ Шагинян!

Пишет вам подруга Асмик и Сероба. Вчера я нашла в портфеле у Асмик дневник. Всего несколько страниц. Ночью все переписала, посылаю вам. Ее дневник я храню у себя, но переписала все слово в слово. Не знаю, правильно я делаю, что посылаю. Я та девушка, что приезжала в Ереван, помните, и на бюро выступала? Каждый день ношу цветы на их могилы, но что толку... Переписывала дневник и все плакала. Я нашим ребятам рассказала, что говорили в Ереване. Ладно, не буду тянуть. Наш класс шлет вам привет. Я не говорила им про дневник Асмик, но сказала, что собираюсь написать вам.

Гаянэ».

Он раскрыл тетрадь.

«30 декабря

Не знаю, зачем я решила завести дневник? В начале шестого класса два месяца писала, потом сожгла. Прочла и сожгла. Пустяки какие-то были. А сейчас зачем пишу, не знаю. Грустно мне. Скоро Новый год, зачем грустить? Вчера играли в снежки, солнце ярко светило. Все время читаю Ваана Терьяна, какой это был хороший человек...

12 января

Рядом с нашим селом строят атомную станцию. Учитель физики долго объяснял. Первая в Армении. Мама каждый день смотрит в сторону строительства и недовольно бурчит себе что-то под нос. Я ей объясняю, но она знать ничего не хочет. Папа говорит, что все неплохо складывается: наступит весна, и переберемся в другое село или даже в райцентр... А мне не хочется, ну куда мы уйдем из нашего села? Сейчас буду писать Серобу сочинение про

«Вардананк». Могут подумать, что сам он не в силах написать. Просто лень ему, а вообще он очень начитанный. Мама сказала, что папа собирается в Ереван, привезет мне новое платье и туфли. Опять грустно. Почему-то вдруг делается грустно. «Уж не влюбилась ли ты?» – спросил вчера Сероб. Скоро школу кончаем, что я буду делать, смогу ли поступить?... Сероб собирается на географический, хотя четыре дня назад говорил, что подает в физкультурный. Кто его поймет. «Хочешь стать Колумбом? – издевалась Гаянэ. – Армянский Колумб, какой же континент ты откроешь?» – «Я уже открыл его», – отрезал Сероб и вдруг засмеялся... «И что же ты нашел?» – спросила я. «Много будешь знать – скоро состаришься». И ушел. Хочу попросить его вместе порешать задачи по тригонометрии. Интересно, согласится?...

14 января

Собрание кончилось поздно, домой я возвращалась с Серобом. Четырежды обошли вокруг церкви. «Я буду венчаться в церкви», – сказал Сероб. Я засмеялась, вот дурак. «Одиннадцать сыновей будет у меня», – «Почему именно одиннадцать?» – спросила я. «Чтобы была футбольная команда». – «А если родятся девочки?» – «Вот те на, я и не подумал». Посмеялись. Потом всю дорогу молчали. Должны были перейти ручей, он взял меня под руку, перешли, а он все не отпускал мою руку, потом вдруг сказал: «Ты читала „Ромео и Джульетту“, Асмик?» – «Нет», – ответила я. Знаю, что автор Шекспир и еще есть кинокартина. А «Ромео и Джульетту» прочитаю, возьму из библиотеки, прочитаю. Интересно, почему он задал этот вопрос?

21 января

Поссорилась с Гаянэ. И с Серобом тоже. А почему – не напишу. Папа привез мне платье, оно немного коротковато, то есть не коротко, но он сказал, чтоб отпустили на десять сантиметров. Буду в нем как чучело. Мама удлинит его. Но

ведь совеем не коротко.

22 января

Сероб подрался с Егишем, избил его, у Егиша пошла из носу кровь. Может быть, из-за того, что случилось на уроке физкультуры? Когда я раздевалась, заметила, что Егиш подглядывает за мною в дверь. Я запустила в него туфлей... Не удлиню я платье. Сероб со мной не разговаривает, но при чем тут я? Вызвали его к товарищу Бегояну, а вдруг выгонят из школы?... Ну зачем он избил этого сопляка? Будь что будет, утром скажу, что не поняла геометрию, пусть объяснит.

10 февраля

Были у дяди Парнака – я, Гаянэ, Астхик, Сероб и Вазген. Смотрели альбомы, вывезенные из Германии. Какие там красивые города! «Вырастем – поедem в Италию. Ромео и Джульетта жили там...» – «tie многого ли хотите?» – сказал Вазген. Потом мы рассматривали фотографии, боже мой, какие это были красивые девушки! Дядя Парнак сказал; что во время войны в каком-то немецком городе он был бургомистром, то есть председателем горсовета. Никто из наших солдат по-немецки не говорил. Он сказал, что говорит, и его назначили. «А как же вы с ними объяснялись?» – спросил Сероб. «Жестами». – «И долго это длилось?» – «Два дня». – «Тоже неплохо». Дядя Парнак рассказывал много интересного, какие-то книги показывал, и все не по-нашему, и еще сказал, что зря растратил свою жизнь в этой дыре. Мы с девочками подмели, прибрали, у него ведь никого нет, он очень обрадовался. Когда мы вышли, Сероб и Вазген вынули из карманов по одной открытке. Стащили. «Не заметит, – сказал Вазген, – столько их у него...» Открытки красавиц. Сама не знаю почему, я вырвала у Сероба открытку, разорвала. Сероб разозлился, потом засмеялся и всю дорогу смешил нас разными историями. Вазген расхвастался, завоображал из-за этой открытки. Подумаешь! Ненавижу мальчишек.

20 февраля

Ходили в горы за подснежниками, не нашли. Всем классом были. Только Анаид не пошла с нами. Сероб отделился от нас, пошел один. Уже темнело, когда он вернулся и дал мне букетик. Откуда? «А тебе что? – сказал он. – В магазине купил. Из Москвы получили». Сумасшедший.

Не скажу никому, засушу, спрячу в томик Терьяна... Но, так хочется, чтобы весь свет узнал об этом. Какие чудесные подснежники...

27 февраля

Сегодня уже показались подснежники. Промерзшие, посиневшие... Как удивительно все в природе. Сероб был очень грустный, по дороге то отставал, то забегал вперед. Было совсем не холодно. Снег. Солнце припекало, а снег не таял. Дура я, а Гаянэ сказала: «Сероб что-то нос повесил, какой-то не такой сегодня...» – «А мне что, – сказала я, – пойди подними ему нос». А сама чуть не плачу. Гаянэ отошла к Серобу, – интересно, о чем они шептались?... Вазген показывал открытку дяди Парнака. Я тоже посмотрела – красивая девушка с голыми плечами. «Помнишь?» – спросил Сероб. «Угу», – ответила я и не поняла, о чем. Может, о той открытке, что я порвала? Подошла Гаянэ, я сказала, что весной мы переберемся в райцентр. Сероб удивленно посмотрел на меня. «Что?» Я повторила. Сероб засмеялся, а я посерьезнела. «И уедем, – сказала я, – а что в нашей деревне хорошего, даже бани нет...» Сероб вдруг погрустнел. Я еще какие-то глупости говорила. Сероб бросил снежок далеко-далеко, ничего не сказал. Когда мальчишки ушли, Гаянэ спросила: «Это точно?» – «Почем я знаю, – сказала я, – папа говорил. А что, разве не все равно?»

8 марта

Сероб принес мне подарок – флакон духов и туфли на высоком каблуке. Ненормальный. «В районном универмаге купил, – сказал он, – на свои деньги, что летом заработал...» Туфли были на два номера больше, в туалете примерила. Из школы возвращались вдвоем. «Понимаешь, что ты наделал, – говорю я ему, – что мне сказать дома, от кого это?» Совсем голову потеряла, пока что спрячу в хлеву, в стене, а там видно будет. Немного побрызгала духами голову... «Чем это так воняет?» – спросил, войдя в комнату, отец. Мама удивилась: «Какая еще вонь, старый, сам от себя шарахаешься». Я чуть не померла от страха: а вдруг узнают... «Поставь воду греться, голову буду мыть», – сказала я маме. Сумасшедший, сумасшедший...

11 марта

В тетрадку по геометрии Сероб вложил письмо. «Как только стемнеет, приходи на церковный двор». Тетрадку он мне дал по дороге, письмо я прочла дома. Все думала, как быть, зачем он меня зовет. «На тебе лица нет», – сказала мама. Пошла в хлев, двери закрыла, надела туфли. Велики, но можно ваты положить. «Что ты делала в хлеву?» – спросила мама. «Да ничего, голова болит», – сказала я. Что делать – идти или не идти? Стемнело, а отца все не было. «Где папа?» – спросила я. «Пошел в райцентр дом присмотреть».

Здорово все складывается... «В школе у нас собрание, мама». – «У тебя же голова болела...» – «Прошло». – «Не опоздай, смотри, и отца дома нет».

Было темно и страшно, и вдруг я услышала свое имя. Это Сероб. «Ну что, зачем вызывал?» – «Посидим немного». – «Камень холодный». – «Ничего». Он расстелил свой платок. Сели на какую-то плиту. Было очень темно. «Не боишься?» – спросила я. «Когда ты со мной, мне ничего не страшно». – «Врунишка». Он сидел и ничего не говорил. «Отца дома нет», – сказала я. «Знаю». – «Откуда?» – «Знаю – и все». Было холодно. «Хочешь, накинь мой пиджак?» – «А ты как же?» – «Ничего». В пиджаке я согрелась. «Ну, что ты хотел сказать?»

Он сидел молча, как будто забыл обо мне, потом вдруг произнес: «Через два месяца кончаем школу». – «Как много звезд, – я посмотрела на небо. – Вон моя звезда!» – «Которая?» Я показала на четвертую звезду Большой Медведицы. «А у тебя она есть?» – «Угу». – «Которая?» – «Она не в небе». – «А где же?» – «В десятом „А“. – „Да ну тебя...“ Десятый „А“ – это наш класс. Сумасшедший. А потом вдруг спрашивает: „Асмик, ты меня любишь?“. Что я могла сказать, промолчала. „Простудишься, – сказала я, – возьми свой пиджак, а я пойду“. – „Погоди“. – „Ведь холодно, давай накину на нас обоих“. Я под села поближе, он и правда замерз. Мы молчали...

Я дома. Поздняя ночь. Отец уже вернулся, мама спит. Только что опять просыпалась, ворчала: «Да спи ты, неугомонная, поди глаза совсем ослепли». Думает, алгебру решаю, я ей сказала, что завтра контрольная. Никуда мы не уедем из нашего села, никуда.

16 марта

Писала сочинение на тему «Кем быть?». Я написала, что хочу стать архитектором, строить здания, мосты, церкви... Слово «церкви» товарищ Керобян красным карандашом вычеркнул, а на полях написал: «В нашей стране церкви давно уже не строятся». Зачем я это написала, и сама не знаю. Еще написала, что у меня своя звезда на небе, а товарищ Керобян подчеркнул и на полях написал: «Какая звезда?» Тройку поставил. Сероб получил пятерку. Не успела спросить, что он написал, все не удавалось с ним перемолвиться на переменках.

19 марта

Сероба в школе не было. «Болен», – объявил Вазген и посмотрел на меня. «Пошли, навестим его», – сказала Гаянэ. Я притворилась, что не слышу. Чем он болен? Сижу дома, места себе не нахожу, ну почему я не пошла к нему? Ночью,

должно быть, простыл. Сумасшедший.

22 марта

Опять не было Сероба.

Пошли к ним всем классом.

«У него температура», – сказала мать. Немного посидели, рядом в комнате спал он. Я спросила, какая у него температура. «Не мерили, отец пошел за градусником. Сорок будет». – «Схожу, принесу», – я встала. «Отец вот-вот вернется. А ты чья будешь?» Будто не знает. Я ответила. Немного посидели, потом встали. Поглядели сквозь щель в двери. Он спал, лицо потное, голова обмотана шарфом. Глупый, глупый, он у церкви простыл. Я чуть не сказала это вслух.

28 марта

Сероб уже два дня ходит на занятия. Немного похудел. Домой возвращались вместе. На улице никого не было, и он забрал у меня сумку: «Тяжелая». – «Ты же болен». – «Ничего». Из сельсовета вышел товарищ Бено. Сероб вернул мне сумку. И вдруг сказал: «Если умру, что будешь делать?» Вот сумасшедший. «Граур надену». – «Правда?» – «А ты попробуй». Посмеялись. «В тот день я кое-что у тебя спросил, когда же ответишь?» – «Что спросил?» – «Забыла?» – «Нет, – врать я не стала, – а что бы тебе хотелось услышать?» Не знаю, что на меня вдруг нашло в эту минуту. Он помрачнел и ничего не ответил.

Потом дома я весь день читала Терьяна.

1 апреля

«Люблю, – сказала я, – люблю». Сероб удивленно посмотрел на меня. В гимнастическом зале никого не было. «Правда?» – «Какое сегодня число?» –

«Первое апреля». – «Первый апрель – никому не верь», – сказала я и выбежала во двор. Я помчалась в ущелье, здесь уже пробивалась трава, земля была мягкая-мягкая. Разулась, окунула ноги в реку. Потом, как сумасшедшая, запрыгала, запела. Что вдруг нашло на меня? Я ведь тоже немножко ненормальная. На урок физкультуры так и не пошла. И сейчас тоже что-то напеваю под нос. Пойду примерю туфли, отца нет, уехал в город.

10 апреля

Сероб не говорит со мной – прошел мимо. Надулся, ну и пусть... Сел один в конце. А я взяла и спросила задачку по алгебре у Вазгена. Он объяснял-объяснял, ничего я не поняла, а Сероб в это время смотрел в окно. Воображает. До чего недогадливые эти ребята...

19 апреля

Мы ходили в ущелье. Как это получилось, не знаю. После уроков шли домой и вдруг оказались на тропинке, ведущей в ущелье. «Куда мы?» – «Я знаю место, где растут фиалки». – «Да?» – «Кончилось твое первое апреля?» – «Ах, вот почему ты дулся!» – «Если не поступлю, пойду работать на строительство атомной станции, денег поднакоплю». – «Мама сказала – если не поступлю, выдаст замуж, сватаются ко мне». – «Что?» Сероб побледнел, глаза у него стали какие-то странные. «Говорит, сватаются ко мне». Я врала, мама ничего подобного не говорила, я просто болтала. Потом мы увидели фиалки... Все было хорошо, только... Уже возвращались, когда в кустах Сероб обнял и поцеловал меня. Не помню, что случилось, только помню звук пощечины. Дала пощечину и убежала. Не буду с ним говорить, даже через сто лет. Бессовестный.

20 апреля

Не разговариваю. Подошел, что-то сказал. Не ответила.

25 апреля

Не разговариваю.

27 апреля

Он вложил письмо в учебник химии (Гаянэ переписала письмо, которое, видимо, осталось в дневнике). «Асмик-джан, прости меня, ладно?... За одно преступление причитается одно наказание, ты мне пощечину дала, не хватит? Целую неделю не говоришь со мной, перестань, ладно? Не то брошусь в ущелье». А вдруг бросится, он же сумасшедший. Так и быть, попрошу у него утром учебник геометрии.

28 апреля

Попросила. «Пойдем в ущелье». – «Когда?» – как дура, спросила я, вместо того чтобы сказать: «Еще чего!» «Сегодня, завтра, послезавтра – сама скажи». Похудел он. «Завтра», – сказала я.

29 апреля

Лучше бы нам не ходить, боже мой, что теперь будет? Нвард-дзало, бабушка Вазгена, увидела нас, покосилась злобно, что-то пробурчала. В стала быстро-быстро подниматься по тропинке в село, чуть ли не бегом... Уже четыре часа, как я дома. Господи, что будет, что будет?...

4 мая

.....

Здесь дневник обрывался. Было проставлено только число, – видно, кто-то вошел, Асмик перестала писать и спрятала тетрадь...

От Татевик пришло письмо, после прочтет. И, конечно, снова не ответит. Как только вообще люди пишут письма, непонятно!

Третий конверт был надорван.

«...Выслушав и обсудив на заседании от 28 мая с. г. сообщение тов. Н. Мамян о самоубийстве, имевшем место в селе В. А. района А., бюро отмечает следующее:

4 мая с. г. ученица 10 «А» класса средней школы села В. А. член ВЛКСМ Асмик Саруханян кончает жизнь самоубийством. Два дня спустя самоубийством кончает ученик того же класса Сероб Варданян. Дальнейшее расследование показало, что довольно продолжительное время между молодыми людьми существовала любовная связь, которая, к сожалению, выпала из поля зрения педагогического коллектива школы и комсомольской организации. Более того – даже после того, как об их нездоровых отношениях заговорило все село, педагогический коллектив и комсомольская организация не сочли нужным вмешаться и указать молодым людям правильный путь. Совершенно очевидно, что если бы школьная комсомольская организация находилась на должной высоте, если бы чаще проводились диспуты и беседы по вопросам воспитания и нравственности, дружба молодых людей развивалась бы в правильном русле и школа не стала бы перед подобным позорным фактом.

Бюро отмечает, что в эти дни, когда комсомольцы и внесоюзная молодежь совершают подвиги в труде и учебе, самоубийство членов ВЛКСМ А. Саруханян и С. Варданяна нельзя охарактеризовать иначе, как бегство от наших героических будней, моральную слабость и малодушие.

Исходя из вышеизложенного, бюро постановляет:

1. Поставить на вид коллективу средней школы села В. А. района А. (директор С. Бегоян, секретарь комсомольской организации Г. Петросян).

2. Секретаря комсомольской организации 10 «А» класса Г. Карапетян освободить от обязанностей секретаря и объявить строгий выговор с занесением в личное дело.

3. Считать правильным решение дирекции школы осудить поведение тех комсомольцев, которые, вопреки приказу директора, участвовали в похоронах членов ВЛКСМ А. Саруханян и С. Варданяна.

Данное постановление распространить во всех первичных организациях республики (только в VIII и X классах)».

В конце было подчеркнуто одно предложение: «В декабре с. г. заслушать доклад о ходе выполнения данного постановления».

На первой странице, внизу, рукою редактора было написано:

«Тов. Л. Шагиняну. Перестроить статью в духе этого постановления».

В духе?

18

Всякий раз, приходя к Ашоту, Левон прежде заглядывал в комнату Араика. На этот раз тоже.

– Привет, что новенького? – обратился он к присутствующим – в комнате находился еще и университетский друг Араика Севак.

– Стираем, – ответил Араик. – Привет.

– А! Это вы? – улыбнулся Севак.

– Что стираете? – Левон сел и глубоко вдавился в старинное кресло, принадлежавшее, по словам Араика, последнему ереванскому губернатору. – А ваши где?

– Твой друг дежурит, а мама пошла в кино.

Комната Араика, по мнению Левона, была единственным приличным уголком в этой квартире. Входишь, и никто не заставляет снимать туфли, надевать шлепанцы или старые босоножки мадам Алины. Здесь не спрашивают о твоём здоровье, не сетуют на то, что редко появляешься в последнее время. С Араиком можно и вообще не здороваться. Как-то он с серьезным видом доказывал Левону, что из шестидесяти лет жизни люди теряют на приветствия примерно два месяца. Можно войти и просто развалиться в кресле или на тахте, а там хочешь – говори, а не хочешь – застегни рот на пуговицу, как говорил Араик.

Входя, Левон обычно окидывал взглядом стены, нет ли на них нового. Чего только не было на стенах: слова из песен Шарля Азнавура, расписание уроков, фамилии певцов, номера телефонов, изречения подруг и приятелей: «Болван, прождал тебя 57 минут 45 секунд и ушел», «Забираю твоего Жака Бреля. Ладно, ладно, принесу», «Она сказала, что любит тебя. XX век, вторая половина, планета Земля».

– А? – Араик наконец поднял голову. – Что за сигареты ты куришь, папин, друг? (Любимое обращение Араика.)

Левон протянул пачку и увидел на стене новую надпись: «Мне дали глаза и сказали – гляди, я поглядел и ничего не высмотрел в жизни».

– Сам перевел?

– Перевод – всего пол-яблока, вторую половину съедает переводчик.

– Кто это сказал?

– Кто же еще? Мой афоризм!

– На, закури, Севак.

Ребята запутались в магнитофонной лейте.

– Не понимаю, что вы делаете?

– Лента – дефицит, папин друг, вот мы и стираем для новых записей, понятно? У тебя нет знакомых по згой части?

– Есть головная боль и долг в двести рублей. Новыми. Погромче сделай,

пожалуйста.

Левон закрыл глаза. Нет, музыка не избавляет от одиночества, наоборот, делает его полнее, отрывает от мира. Нужно будет, наверное, еще раз побывать в деревне, где жили Сероб и Асмик, встретиться с их классом, зайти к Бено и Парнаку.

– Араик!

– Что?

– У меня есть знакомый маляр, дешево побелит.

– Пока места хватает. – Араик засмеялся, потом сделался серьезным. – При отце не говори, а то заведется на полчаса. Папин друг, я все думаю: отчего вы с ним так непохожи?

– Чем именно?

– Сотрем, – предлагает Севак.

Араик нажимает пальцем на магнитофонную клавишу, и диск начинает вращаться быстрее, они прослушивают по такту-другому из каждой записи и выносят приговор, стереть или нет.

– Знаешь чем? – продолжает прерванную беседу Араик.

– Не знаю.

– Ты быстро устаешь от наставлений. Ни в учителя истории, ни в попы ты не годишься.

На миг Левон забыл об Араике, прислушиваясь к знакомой мелодии, льющейся из магнитофона.

– Вы эту оставьте, а? Тоже хотите стереть?

Араик посмотрел с состраданием:

– Э, папин друг, сейчас это играют даже перед комсомольским собранием.

Ты бы научил отца уму-разуму.

– В чем дело?

– Скажи, пусть не принимают.

Левон засмеялся.

– Ты же знаешь, с прошлого года я курю. Он и сам отлично это знает, но

всякий раз удивляется. И не лень, не успеешь выйти из ванной – принохивается.

Одну из песен ребята прослушали очень серьезно.

– Стираем? – спрашивает Севак.

– А кто его знает. – Араик бережно и задумчиво втягивает папиросный дым. – Записывали у Джеммы. Слышишь, щелкнуло? Это Джемма кофе принесла, упала ложка... И Рипсиме там была...

– Да, – говорит Севак, – помню.

– Сотрем, – наконец произносит Араик, в его голосе слышится грусть, – сотрем, – говорит он уже равнодушно, – в чем дело?

– Ладно, – соглашается Севак, – Адамо поет теперь в другом ритме, достану. Джеммы в последнее время не видно.

– Пусть остается, – вдруг заявляет Араик. Потом говорит Левону: – Папин друг, все хочу спросить у тебя: когда ты впервые напился?

Когда? После тридцати лет память похожа на одинокую женщину, легко изменяет. После войны из американского молочного порошка делали мороженое, они с Карленом целую неделю собирали по копейке и купили одну порцию на двоих. «Пусть мы станем такими богатыми, чтобы купить по мороженому на каждого», – пожелал тогда Карлен. Когда напился?... Рассказать ему?

– Не помню, друга сын, – иной раз Левон тоже подстраивался под Араика, – такие Дни в анкету не вносятся и забываются. – И подумал: «Не помешало бы записать это нашему поколению...»

Араик смеется, он не слышит мыслей Левона. Левон грустно улыбается.

– Говорю, не выпить ли нам до прихода мамы?

– Выпить, – соглашается Левон. Потом замолкает.

– Что случилось?

– Тише, – Левон показывает на магнитофон, – послушаем.

Магнитофон играет «Маленький цветочек» – старое, усталое танго, ушедшее на пенсию.

Левон сидит, глубоко зарывшись в кресле: нет, память не всегда изменяет.

...То была его первая. командировка. Работал он тогда всего третий месяц. В городке у него знакомых не было, гостиница выглядела непривычной и неуютной. Он купил две бутылки красного вина, выпил несколько стаканов. На письменном столе лежала пластинка, он кое-как запустил радиолу, черный диск заиграл «Маленький цветочек», тогда еще новое танго, он слышал его впервые.

Вино не лезло в горло. В дверь постучались. В дверях стояла тоненькая девушка лет двадцати двух с распущенными по плечам волосами. «У вас спички найдутся?» – «Найдутся». – «Мне только несколько штук, коробка у меня есть, но спички в ней все обгорелые». – «Берите, у меня есть еще». – «Спасибо». – «Хорошее танго, верно?» – «Впервые его слышу». – «Выпейте стаканчик, очень слабое вино». – «Да? Я поставлю чай и приду».

– Папин друг, – до Левона вдруг доносится голос Араика, – прокрутить еще раз?

– Что?... А, да, пожалуйста.

...Она пришла. Снова поставили «Маленький цветочек». Выпили по стакану, по второму, по третьему. Впервые он видел, как пьют девушки. Потом долго и молча танцевали. В комнате стоял полумрак, падал только слабый лунный свет из окна. Девушка была высокая, и когда целовались, она слегка наклонялась. Во время танца она нежно гладила его по волосам, словно маленького ребенка.

– Уже пятый раз, с ума сойти! – это голос Араика. – Еще?...

Левон сделал неопределенный жест.

...Он больше ее не видел. Да и незачем, мог бы получиться сентиментальный роман, у них пошли бы дети, стали бы все вместе ездить на море, покупать для соленья капусту и огурцы, ходить на родительские собрания... Ничего этого не случилось. Осталось воспоминание, тепло той ночи, воспоминание о том, как она, молодая, словно мать, гладила его по волосам. Никогда больше с ним такого не случалось. Хотя его, может быть, и любили, кто – знает?

Левон подумал, что жизнь как спичечная коробка, в которой чем дальше,

тем больше становится обгорелых спичек. Утром он будет смеяться над этим сравнением... Обгоревшие спички можно выбросить, а прожитые дни остаются. И вот наступает день, когда в коробке одни только обгоревшие спички.

Левон выпил еще, а магнитофон все крутился. Почему нет комиссионных магазинов, где можно было бы продавать старые, затертые мелодии? Их кто-нибудь мог бы купить по дешевке. Он улыбнулся зло и спокойно.

– Сотри.

Араик спокойно сказал:

– Ладно, послушаем дальше, а там и сотрем.

Горький ком застрял в горле. Левона вдруг стало раздражать спокойствие этих ребят, их ленивые движения. Померещилось, что Севак смотрит насмешливо. Ему захотелось поддеть их, говорить долго, скучно, как Ашот, как все усталые люди в этом мире.

– Значит, мы вам не нравимся? – Это была слово в слово фраза Ашота, и даже его тоном Левон протянул «нравимся».

– Что случилось? – Араик посмотрел удивленно. – Приляг немного на тахту, ладно?

– Слушай...

Араик прервал его торжественно-спокойно:

– Постой, я подскажу, ладно? «Слушай, когда нам было столько, сколько тебе, война только окончилась, ты представляешь, что это такое, я четыре класса проходил в школе в одной и той же рубашке, хочешь, покажу фотографии? Отец твой три года подряд носил все тот же армейский китель, зимой и летом, понимаешь?» – Араик на минуту замолчал. – Продолжать? «Мы с твоим отцом полтора года работали грузчиками на вокзале, а вы не успели родиться – и все уже к вашим услугам, по утрам просыпаетесь и, протянув руку, попадаете в японский магнитофон, а мне было двадцать три года, когда я...» Продолжать?

Левон смеется. Смеются все трое.

– Ничего, – говорит он, – твои дети скажут тебе то же самое, тогда вспомнишь меня.

– Не скажут.

– Почему?

– Я не стану попрекать их. – Араик смотрит серьезно, как взрослый, на лбу у него морщины. – С тобой еще куда ни шло. Был бы здесь твой друг, началась бы третья мировая. Он бы сосчитал по пальцам, сколько у меня пар обуви, авторучек, сказал бы, что он лекции писал химическим карандашом. Напомнил бы, что это вы посадили первые деревья в Цицернакаберде, что в Ереване в двадцатом году было всего двадцать тысяч жителей, мы же, дармоеды...

Левон смеялся.

– Ладно, выключайся, лучше музыку послушаем.

Севак нажимает на кнопку, и комната наполняется шумом.

– Битлы, – поясняет Араик. – Уши выдержат? Левон машет рукой.

Асмик и Сероб не услышали и не услышат этих песен. Ваграм тоже не услышал, хотя прожил сорок семь календарных лет. Интересно, где теперь та девушка из гостиницы? Наверное, каждый должен потерять какого-нибудь дорогого человека, чтобы потом всю жизнь искать. Если нашел, значит, это не то. Вино бушевало в нем, делало его поэтом, философом, болтуном, ребенком. Видимо, он ищет ту девушку в Лилит, Татевик и других, грустит, когда находит их, – значит, не она. Сын Ваграма редко будет вспоминать могилу отца и цветов не понесет. Ваграма похоронили в деревне, носить цветы на могилу – это уже семнадцатый век. Вполне возможно. Видимо, каждое поколение имеет свой коробок обгорелых спичек: и коробок похож, и сгоревшие спички, но каждый раз они другие. Кажется, что те же, но не те. Левон снова наполнил рюмку, но прозвенел звонок.

– Мама-философ заявила, – произнес Араик и торопливо упрятал в шкаф вино, стаканы, быстро допив содержимое Левоновой рюмки...

Левон поднялся. Надо было идти.

Ребята не узнают, что произошло в его душе, не спросят, да он и не скажет, а если скажет, то не поймут. Из передней уже доносился голос Алины, она пересказывала сыну содержание фильма. Сейчас она войдет, спросит Левона, как

он живет, пожурит, что редко заходит, уговорит остаться выпить чаю с айвовым вареньем, по дороге на кухню и обратно доскажет до конца весь фильм, заметит, что он не в духе, посоветует принять от головной боли аналгин, пожалуется на Араика («Целыми днями не отрывается от магнитофона, ни меня не слушает, ни отца, скажешь – вынеси мусор, отвечает, что у него экзамен, на днях управдом заходил, ошалел: „Что это у вас, говорит, стена или жалобная книга? «Хоть бы ты его вразумил»»).

Нет, надо идти.

Левон встал, поправил галстук, почему-то посмотрел на магнитофон, на стопку коробок с лентами.

– И я с вами, – вдруг поднялся Севак, словно что-то вспомнив, – нам по дороге.

19

Было утро, но жаркое. Он проснулся с головной болью, вспомнил вчерашний день и начал бриться. Брился долго и тщательно, словно на свадьбу собирался. Здорово перебрал вчера. Татевик приезжает сегодня, значит, не придется отвечать на письмо, это хорошо. Карлену надо позвонить. Мать пошла купить черной материи на платок. Пора прибраться в комнате.

На улице стало еще жарче.

Всего девять утра, а асфальт уже нагрелся. Еще несколько дней такой жары – и совсем расплавится. Окна со стороны улицы словно за цветными очками. Проехала поливальная машина. Беззаботно вспорхнула стайка девочек. А может, и не беззаботно? Написать бы об этих днях, составивших по календарю меньше месяца, о Ваграме, Се-робе, Асмик, Рубене, о ребятах, об Араике... Кто-то помахал ему из троллейбуса рукой, – интересно, кто? А поливальная машина двигалась, как черепаха, останавливаясь подолгу возле каждого дерева. Он машинально забрел в кафе, выпил за стойкой чашечку кофе, купил сигареты, заплатил, получил сдачу и вышел. Кто-то поздоровался с ним с

противоположного тротуара, он ответил, улыбнулся, – кто бы это? Город уже давно пробудился, большой, огромный город, смахивающий на гигантскую колокольню, муравейник, рудник, асфальтовые подмости, где, казалось, ежедневно дают одну и ту же пьесу, меняются только исполнители. Город опутывал его, как спираль, притягивал, сопротивлялся, сдавался. А он шел сквозь свое одиночество, схожее со стеной, толстой, заботливо сложенной из мелких камушков, или с бесконечной лесной тропкой, когда с обеих сторон теснят деревья, а сверху виден клочок неба. В густом лесу деревьям приходится тянуться в рост. Деревья его одиночества были высокими. Шагал Левон Шагиня'н, обыкновенный житель, незначительный прохожий в мире, шел сквозь свое одиночество, сквозь прожитые и непрожитые годы.

Обычный день, один из последних в июне.

20

На письменном столе чистые и исписанные бумаги, бумажки одинакового размера, несколько писем, переадресованных редактором Левону. Исписанные бумаги следовало отдать машинистке, а на чистых писать.

Зазвонил телефон.

– А, папин друг, – Араик говорил звонким, оживленным голосом, – чудно выпили вчера, а? Мама ничего не узнала, а то танго мы не стерли, хотя, сам знаешь, оно на пенсии. Прислать его по почте?

– Хорошо, Араик, пришли.

– Да, спасибо за сигареты, удачно получилось, что ты их забыл у нас.

Левон положил трубку и выглянул в окно: все те же здания, окна которых он за эти годы тысячи раз пересчитал.

Жарко. На столе чистые листы и письма, авторы которых ждут ответа. Сейчас он прочтет, подумает.

Снова звонок.

– Зайди-ка на минутку! – Это был редактор.

Левон улыбнулся Седе и толкнул кожаную дверь.

– Читал решение? – спросил редактор.

– Читал.

Редактор стоял у сейфа, то ли собирался открыть, то ли закрыть его. Сейф был того же цвета, что и кожаная дверь, что и весь мир.

– Видел? Он все-таки не отпустил меня, – сказал редактор, – я так и знал...

– Кто?

– Степанян, кто еще? Все тянул и тянул... Ты забыл, куда я собирался? – В его руках была записная книжка, он ее заботливо положил в дальний угол сейфа, прикрыл сверху бумагами и запер. – Кто знает, когда теперь пригодится... В отпуск не собираешься? Хочешь, оформлю?

– Выпил я вчера вечером...

– Того самого коньяку?

– Какого? Да, именно. Голова раскалывается.

– Коньяк стоящий.

Левон вышел.

Он вышел и снова зашагал сквозь свое одиночество, схожее с узкой ковровой дорожкой, что ведет в большой длинный коридор, но короче, чем лесная тропинка; стены были высокие, но ниже, чем деревья в лесу, вымаливающие у неба света. В коридоре есть потолок, там горят электрические лампочки, их можно зажечь, погасить, сменить на тысячесвечовые. У коридора свои законы, у тропинки – свои.

Левон Шагинян шел по коридору к своему письменному столу, а лесная тропа жила своими законами, жила в его душе, в прожитых и непрожитых его годах.